

СОВЕТСКАЯ ТЮРКОЛОГИЯ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

АКАДЕМИЯ НАУК
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

БАКУ—1971

2

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
АКАДЕМИЯ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

С О В Е Т С К А Я ТЮРКОЛОГИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Выходит 6 раз в год

№ 2

МАРТ—АПРЕЛЬ

БАКУ — 1971

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Г. А. АБДУРАХМАНОВ, П. А. АЗИМОВ, Н. А. БАСКАКОВ, М. А. ДАДАШЗАДЕ,
С. К. КЕНЕСБАЕВ, А. Н. КОНОНОВ, Г. И. ЛОМИДЗЕ, Э. В. СЕВОРТЯН,
И. С. СЕИДОВ (зам. главного редактора), Э. Р. ТЕНИШЕВ, Е. И. УБРЯТОВА,
М. Ш. ШИРАЛИЕВ (главный редактор), ЯШЕН КАМИЛЬ

Ответственный секретарь Э. Х. ИБРАГИМОВ

Адрес редакции: Баку-73, просп. Нариманова, 31.

СТРУКТУРА И ИСТОРИЯ ЯЗЫКА

Э. В. СЕВОРТЯН

О СОДЕРЖАНИИ ТЕРМИНА «ОБЩЕТЮРКСКИЙ»

Понятие «общетюркский» в тюркологии специально не определялось. Да и сам термин не находил, пожалуй, широкого употребления в истории тюркского языкознания.

После того как были перенесены основные понятия, представления, методы и опыт сравнительного изучения языков из индоевропейского языкознания в тюркологию (О. Бётлингк, М. А. Казем-Бек, И. И. Березин), в последней утвердились понятия «пратюркский», «прототюркский», а впоследствии и «дотюркский» язык. Понятие «пратюркский» укоренилось как в русской, так и в западноевропейской тюркологии.

В современном зарубежном тюркском языкознании эти традиционные термины сохраняют свое прежнее положение почти монополично, хотя термины *gemeintürkisch*, *turque commune*, *common Turkic* известны и на Западе.

По-иному обстоит дело в советской, как, впрочем, и в дооктябрьской отечественной тюркологии.

В России и в других странах тюркология начиналась как описательная наука о живых тюркских языках: турецком — на Западе, татарском, турецком, алтайском, чувашском и т. д. — у нас. Довольно рано обозначилась и другая черта тюркологии — сравнительное, или менее вразумительно — сопоставительное, изучение тюркских языков. Первыми опытами отечественной тюркологии в этой области была «Грамматика турецко-татарского языка» М. А. Казем-Бека (второе издание), частично «Грамматика алтайского языка», а на Западе — известный сводный труд Абеля Ремюза.

С возникновением и постепенным распространением сравнительно-исторического метода положение в русской и западной тюркологии начало меняться. Западноевропейская тюркология сосредоточила свои силы и внимание преимущественно на сравнительно-исторических и исторических исследованиях, стремясь выяснить истоки изучаемых явлений и реконструировать соответствующие им праформы.

Русская тюркология наряду с широкими сравнительно-историческими и историческими разысканиями продолжала накопление все возрастающих сведений о неописанных еще живых тюркских языках и наречиях,

* В данном разделе публикуются материалы симпозиума по сравнительно-историческому изучению тюркских языков, проведенного сектором тюркских языков Института языкознания Академии наук СССР 11—13 ноября 1970 г. (см. информацию о симпозиуме в журнале «Советская тюркология», 1970, № 5, стр. 130—134).

стремясь выяснить общие лингвистические черты, присущие как всем тюркским языкам в целом, так и их более тесным ареальным объединениям.

Первым крупным научным итогом этого направления отечественных исследований в тюркском языкознании явился труд В. В. Радлова «Phonetik der nördlichen Türksprachen» (Leipzig, 1882), составивший исторический рубеж в науке.

Хотя «Фонетика» В. В. Радлова по замыслу ее автора должна была представить собой первую часть сравнительно-исторической грамматики тюркских языков, фактически она явилась первым для своего времени законченным опытом сравнительной фонетики живых тюркских языков, первым трудом об общетюркских и межтюркских явлениях в области сравнительно-описательной фонетики живых языков тюркской семьи.

На базе этого труда В. В. Радлова, его классификации тюркских языков, а также аналогичной классификации Ф. Е. Корша, равно как и других работ представителей радловской школы, окончательно сформировалось представление об общетюркских явлениях, понятие общетюркского, охватившее затем наряду с фактами живых тюркских языков и соответствующие показания древних, зафиксированные в памятниках тюркской письменности.

Распространение этого представления и понятия, как и распространение самого термина «общетюркский», относится, однако, не к дооктябрьской, а к послеоктябрьской эпохе и особенно широко проявилось в годы, последовавшие за Великой Отечественной войной 1941—1945 гг., когда в советской тюркологии начались первые систематические опыты сравнительного изучения тюркских языков с привлечением обширных новейших лингвистических материалов, неизвестных или малоизвестных до-октябрьской тюркологии. Наиболее значительным результатом этих разысканий следует считать «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков» (I—IV, М., 1955—1962), где описаны обще- или межтюркские явления, относящиеся к фонетике, грамматике и лексике тюркских языков.

Хотя «Исследования...» не лишены элементов историзма, но называть их опытом сравнительно-исторического описания тюркских языков мы лично не решились бы. В определенной мере это относится и к другой крупной работе того же цикла — «Историческому развитию лексики тюркских языков» (М., 1961).

Итак, под распространенным в советской тюркологии термином «общетюркский» имеется в виду языковое явление, языковой факт, отмечаемый во всех живых тюркских языках и сохранившийся в памятниках.

Каково же историческое и генетическое положение того, что мы называем общетюркским? В каком отношении находится общетюркское к пратюркскому?

В самом общем виде на эти вопросы мы ответили бы так: чем дальше в глубь истории тюркских языков, тем чаще совпадает общетюркское с пратюркским; чем ближе от стадии нераздельной общности или намечавшейся дифференциации тюркских языков, тем реже общетюркское совпадает с пратюркским.

Сказанное требует конкретизации, так как важно уяснить, о каких явлениях языка идет речь.

Высказанное положение понятнее в отношении словаря, нежели остальных частей языковой структуры. Можно, по-видимому, принять, что для доисторической эпохи общетюркское слово-основа (прежде всего однословная основа) есть вместе с тем и пратюркское слово-основа, т. е.

существовавшее еще в эпоху праязыка: *ал-* 'брат', *бол-* 'быть', 'становиться', *кел-* 'приходить', *ер-* 'быть', *ай* 'луна' (возможно, *ан*), *ус/ес* 'верх', *бир* 'один' и т. д. Нет никаких указаний (ни прямых, ни косвенных), которые позволили бы допустить, что какие-то из названных или других слов-основ зародились в одном доисторическом диалекте, а затем распространились и в остальных. Поэтому представляется более вероятным, что все корневые и древнепроизводные слова-основы составляют достояние общетюркского языка-основы.

Сказанное о лексических основах приходится распространить и на некоторые формы словообразования и словоизменения, не забывая, конечно, во-первых, об исторической условности такого деления форм и, во-вторых, о хронологической отдаленности стадии выработки форм (прежде всего аффиксов) от стадии слабо дифференцированного состояния общетюркского языка-основы.

В этом случае мы также не располагаем какими бы то ни было указаниями, которые позволили бы предположить, что, скажем, аффиксы глаголообразования *-ла-*, имяобразования *-р/к-* и местного падежа *-та* зародились в каком-то доисторическом тюркском диалекте и затем распространились в остальных доисторических диалектах. Приходится, таким образом, и эти, а также некоторые другие общетюркские аффиксы относить к пратюркским формам, пока науке не удастся восстановить их более ранний фонетический облик, хотя, повторяем, очевидно, что стадия формирования самых первых аффиксов отстоит далеко от стадии формирования корневой базы общетюркского лексического фонда.

Следовательно, можно попутно заметить, что к пратюркской эпохе принадлежат как корневые, так и аффиговые основы общетюркского словаря, и сама эпоха пратюркского состояния наших языков предполагает несколько этапов и стадий, в числе которых имелись стадия корневая и стадия первоначальных аффиксов и их источников.

Специального рассмотрения требует вопрос о единстве пратюркской, т. е. генетически общетюркской основы и формы.

Вопрос этот не нов и имеет свою историю.

Почти с самого начала появления сравнительно-исторического метода и особенно со времени распространения основных идей нефилологического, младограмматического направления в языкознании с его центральным положением о фонетическом законе и закономерной эволюции звуков речи в тюркологии утвердился и сохранился до настоящего времени почти без изменений классический взгляд, согласно которому звуковые корреспонденции по ареальным группам в области как гласных, так и согласных непосредственно или через промежуточные звенья восходят к одному общему гласному или согласному. Фонетические же (формальные) модификации общетюркской лексической основы или морфемы восходят соответственно к формально единой лексической основе или формально единой морфеме. Этот взгляд разделяется как тюркологами, так и монголистами и алтаистами.

Подразумевается, что при отказе от этого принципа рушится сравнительно-исторический метод, а различия между родственными языками становятся необъяснимыми.

Указанный взгляд, в частности, лежит в основе всех современных историко-фонетических работ в зарубежной тюркологии, монголистике и алтаистике, в том числе в основе наиболее значительных теоретических построений фонетического порядка: в обеих частях посмертного труда Г. Рамштедта («Einführung in die altaische Sprachwissenschaft», I, II.

Helsinki, 1957, 1952) в работах Н. Н. Поппе («Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen», I. Wiesbaden, 1960) и М. Рясняна («Материалы по исторической фонетике тюркских языков». М., 1955), во вводных статьях к первому тому «Philologiae Turcicae Fundamenta» (Wiesbaden, 1957) и др.

Накопленные к настоящему времени и все продолжающие пополняться материалы памятников и диалектов тюркских языков делают, однако, необходимой конкретизацию указанного взгляда, внесение в него некоторых уточнений.

Оговоримся вначале, что в общем виде положение об исходном формальном единстве общетюркской лексической основы или морфемы сохраняет все свое значение.

Однако далеко не всегда удается возвести общетюркскую или межатюркскую лексическую основу либо форму к единому исходному состоянию. В значительном числе случаев исследование оказывается на перепутье, когда без риска насилия над фактами не удается решить вопрос о том, какую из оставшихся двух или трех форм после сведения всех остальных форм правомерно отнести к исходной, или какой исходный архетип можно восстановить на основе сохранившихся форм.

Из исследовательской практики известно, что несводимые между собой разновидности общей лексической основы или формы различаются контрастирующими признаками: нёбностью-ненёбностью корневого гласного в параллельных основах, его открытостью-закрытостью или лабиальностью-нелабиальностью; лабиальностью-назальностью корневого согласного, его шипящим или свистящим характером в параллельных основах или формах и т. д.

Эти и аналогичные фонетические отношения широко и давно известны в тюркологии и постоянно фигурируют в фонетических описаниях современных тюркских языков и диалектов в разделе чередований и звуковых корреспонденций в том или другом литературном языке и его диалектах. В описаниях одни из таких гласных или согласных нередко принимаются за основные, другие — за вторичные, позднейшие. В рассматриваемых же здесь фактах подобная возможность отпадает, так как нельзя найти объективных доказательств первичности одного корневого гласного или согласного и вторичности его корреспонденций в параллельных с ним формах и основах. Приведем некоторые иллюстрации к сказанному.

В тюркских языках имеется заметное число лексических основ, в которых корневой гласный в одних языках выступает в виде *e*, в других — в виде *ø*, как это уже отмечал в своей «Phonetik...» В. В. Радлов (стр. 85). М. Ряснян рассматривает эти случаи как переход *e* в *ø* под влиянием последующего губного (М. Ряснян. Материалы..., 57). Так же рассматривал аналогичные случаи Г. Рамстедт (Einführung, I, Lautlehre. Helsinki, 1957, 161—163, примеры *ötük* < *etük* 'салони', *örük* < *erük* 'абрикос, -ы' и др.). Однако в более ранней работе — в корейских этимологиях Г. Рамстедт указывал на то, что ряд основ рассматриваемого типа можно отнести к наследию далекого прошлого — с чередованием *e* ~ *ø* в корне. К основам этого рода принадлежит, напр., *øt-* 'петь', 'звучать' в турк., аз., лоб., Р I₁₂₆₃, Будагов I₁₁₁, ДТС₃₉₁, Малов₄₀₇ и т. д., а также *ët-* тув., *et-* як., ДТС₁₈₆, Малов₃₆₆. Очевидно, что формы *øt-* и *et-*, зафиксированные в старейших памятниках, не могут быть возведены одна к другой или же к третьей форме, откуда можно было бы их вывести.

К этому же ряду основ с параллельными губными и негубными формами можно отнести еще следующие основы: *еник* 'детеныш зверей и животных' в тур., тув., МА₄₀₄, *унйгәш* (уменьшительная форма) в ГАЯ₂₈₆,

Р I₁₈₂₀ (шор.); *у : н* (уйн) 'голос' турк., *ун* в подавляющем большинстве языков и памятников, а также *ин* аз. диал., Р I₁₄₃₉ (абакан., кар. л.), *ын* ктат., а также *инде* 'оклика́ть' в ряде языков; *ителги* кир., *ителгу* Р I₁₅₀₂ (чаг., вост.-тюрк.), *йтелги* каз., *италги* уз., а также *үтэлги* аз., Будагов I₁₁₁, 177 — все со значением 'коршун' и др.; послелог *үчүн*, *үчин* в большей части языков и памятников, но также с корневым *и* — *ичин* тур., *ичүн* лоб., Korkut₁₄₈, Çarh.₇₃, Rav. С.₁₀₀, *исин* як.; *үрк*- и *үрук* 'вздрагнуть', 'испугаться' в большинстве языков и памятников, но также с корневым *и* — *ирик*- Р I₁₄₆₀ (кир.-каз.), El-Idr.₂₅, Vámbéry CSpr.₂₃₂, *ирк* — тат. диал.; *диз*-, *тиз*- 'нанизывать', 'насаживать' в большинстве языков и памятников, но также *дүз*- турк., аз., *түз*- кар. к., ктат., лоб., в памятниках; *түйт*- турк., *тут*- каз., ног., ккал., *түте*- каз., но также с негубным корневым гласным *дит*- тур., гаг., *тит*- кир., хак., *тит*- тат., баш. — все со значением 'разделять на волокна' и др.

Еще больше в тюркских языках корневых и неодносложных основ, которые различаются по языкам нёбностью-ненёбностью корневого гласного. Они, как и другие типы основ, впервые были описаны В. В. Радловым (Phonetik..., 85), затем другими авторами, присоединившими к примерам В. В. Радлова новые иллюстрации (см. М. Рясянен. Материалы..., 53). На самом деле число подобных основ много больше того, что уже приводилось в научной литературе. Назовем лишь те из них, в которых корневой гласный выступает по языкам в формах *ы~и*: *ис* 'дым', 'копоть', 'сажа' тур., кир., тат., уз., уйг., лоб., а также *ыс* тат., уз. диал., сюг., баш., *ыш* Р I₁₄₀₀ (алт., тел., лоб., шор., кюэр.), ДТС₂₂₀; *и : ш* 'дело', 'работа' турк., уз. диал. (Карабулак, Хорезм), *иш* в подавляющем большинстве языков, древнейших памятников, но также *ыш* уйг. диал., ДТС₂₁₄, Малов₄₄₃, Gabain₃₁₂, Brockelmann₆₃, Kašg. D.₂₂₀, USpr.₂₇₂, Analyt. In.₄₇₈; *ин₁гир* кар. т. г., Analyt. In.₄₉₀, *ингер* сюг., *ин₁гир* кар. т., бал. Шаумян₇₂, *ин₁ир* кбал., кир., ккал., ГАЯ₁₆₂, но также *ынғыр*, *ын₁ыр* кар. к., *ыныр* алт., *ығыржык* тур. диал., *ынырт* кир., *ымырт* кир., каз., ккал. — все со значениями 'сумерки', 'вечер'; *им* 'знак', 'жест', 'мимика' тур., тув., Р I₁₅₇₁ (алт., тел.), ДТС₂₀₉, Малов₃₈₀, Kašg. D.₂₃₁, Qutb₅₀, но также *ым* турк. диал., кир., каз., ног., ккал., тат., баш., Р I₁₄₀₄ (кир.-каз., бар., тоб., казан.).

Значительно шире, чем приведенные две звуковые корреспонденции, распространено в тюркских языках соответствие открытого и закрытого корневого гласного общетюркской основы. М. Рясянен прав, указывая, например, на разнообразие и сложность чередования *е~е~и* в различных тюркских языках (М. Рясянен. Материалы..., 57). Приведем лишь некоторые бесспорные случаи: *ирин*- 'лениться' турк., T VI₁₇₆, 182, El-Idr.₂₅, Ettuhfet.₁₇₉, Vámbéry CSpr.₂₃₃, *îren*-койб., *îrin*- караг. Castrén₈₃, а также с открытым *е*:- *ерин*- в большом числе современных языков, а также памятников: Малов₃₆₅, Gabain₂₉₉, Brockelmann₂₃, Kašg. D.₁₈₉, Analyt. In.₄₆₉ и др.; *и : шик* турк., *ишик* тур. диал., уйг., лоб., ДТС₂₁₄, Малов₃₈₂, Gabain₃₁₂, Abû H.₄₀, Ettuhfet.₁₇₉, Аф₀₇₈, Ibnû M.₃₄, Korkut₁₅₀, Zajaczkowski St. II₈₄, TS III₂₁₁₅, 2116, Vámbéry CSpr.₂₃₃, формы с открытым гласным: *ешик* в большом числе современных языков, а также в ДТС₁₈₅, Малов₃₆₆, Brockelmann₂₅, Kašg. D.₁₉₈, KW₉₄, Грунин₃₉₂, Seyhi₄₉, Боровков — Бад.₁₁₆ и т. д. — все со значениями 'дверь', 'порог' и т. д.

Корневое *а* редко чередуется с другими гласными за исключением *ы* типа *ағач*, *ағаш* и т. п., а также *ығач* Малов₄₄₃, Gabain₃₀₉, *ығач* лоб., Ма-

лов³⁹¹, Brockelmann⁸⁷, Kašg. D.⁷⁸⁰. Мы не включаем сюда соответствие общетюркского *a* закрытому *y* в тувинском и якутском.

Примеры на соответствие $\theta \sim \gamma$: *йөре*- 'ходить', 'передвигаться', 'идти' турк., *йөрү*- сак., *йөр-/йор*- сюг., *жор*- сюг., *чөр*- хак., *йүрү*- и *йүр*- в преобладающем большинстве языков.

Объем статьи не позволяет привести большое число основ с чередующимися звуками в корневых гласных и согласных. Однако и приведенного достаточно, так как суть вопроса ясна.

К корреспонденциям из области гласных мы добавим лишь несколько иллюстраций чередования согласных $n \sim m$, которое Г. Рамстедт и М. Рясянен ограничивали лишь чувашским языком (М. Рясянен. Материалы., 177), тогда как соответствие $n \sim m$ имеет распространение и в других языках: ср. *емгек* 'труд', 'мучение' в разных языках и памятниках, чув. *анка* — 'мучиться', 'страдать', каз. *енбек* 'труд', 'мучение'; *ен,ин* 'метка (надрез) на ухе домашнего животного' в большом числе языков разных ареалов и *и : м* турк. диал., *им* алт., тув., як.

Все эти и еще большее число неприведенных общетюркских корней и неодносложных лексических основ невозможно возвести к единым архетипам.

Поскольку расходящиеся формы общетюркских лексических основ прослеживаются часто вплоть до древнейших текстов и объем таких несводимых расхождений значителен, мы вправе отнести их к фактам древнедиалектных расхождений, существовавших еще в дописьменную эпоху.

Фонетические расхождения в общетюркских основах рассматриваются здесь только в корневой части этих основ и последние часто сами представляют собой корни. Поэтому можно все эти показания отодвинуть еще дальше, вплоть до нераздельного состояния тюркских языков, но с уже наметившейся в нем диалектной дифференциацией.

Мысль эта вообще не новая. В индоевропейском языкознании она уже утвердилась особенно после успехов лингвистической географии. Но в тюркологии такой вопрос не поднимался.

Так или иначе в отношении значительной части общетюркских лексических корней сравнительно-историческая тюркология сегодня не может проникнуть дальше их уже дифференцированного состояния, и восстановить их исходные единые общетюркские формы пока трудно, если не невозможно.

В связи со сказанным возникает один вопрос чисто фонологического характера.

В приведенных общетюркских лексических основах с расходящимися корневыми гласными по языкам дифференциальные для современных тюркских языков признаки гласных — нёбность, лабиальность — в этих корнях нейтрализованы, они не релевантны. Нельзя ли на этом основании допустить, что гласные в общетюркских корнях в своем историческом состоянии фонологически неустойчивы и что сам состав гласных фонем фонологически беднее современного их состояния, но что они богаче современных гласных своими основными вариантами.

Напомним, что несколько иными путями к сходной мысли уже приходили другие советские авторы.

Значительный слой общетюркских лексических основ и форм создавался и в позднейшую, уже историческую эпоху, когда общетюркский язык-основа давно отошел в прошлое и на обширных пространствах сложились племенные языки, их более мелкие подразделения или, наоборот, объединения. В этих условиях вполне вероятным представляется процесс

распространения лексической основы или формы из одного источника, хотя параллельное и независимое образование одних и тех же лексических основ и форм также нельзя исключать.

Специальные исследования на эту тему в тюркологии еще не проводились, но в лексикологических, в частности этимологических, работах время от времени попутно делаются замечания о заимствовании лексической основы из одного тюркского языка в другой, однако о независимом параллельном образовании одних и тех же лексических основ в тюркских языках, кажется, не говорилось.

Остановимся несколько подробнее на этих двух путях образования общетюркских лексических основ.

Распространение языкового явления из одного источника по всей тюркской лингвистической территории легче проследить на древних заимствованиях, поскольку в ряде случаев в тюркских языках формы и значения заимствований сохранились так, как они были зафиксированы в языке-источнике. Обратимся к примерам.

Общетюркское *аш* 'еда', 'каша' и т. д., вероятно, заимствовано из среднеперсидского языка, где *aš* означает 'суп' (Р. Абрамян. Пехлевийско-персидско-армянско-русско-английский словарь. Ереван, 1965, 71). Судя по санскритским соответствиям, корневой гласный в *aš* исторически долгий. *A : ш* с долготой зафиксировано также в *Kāšg. I₃₀* и в гагаузском. Что касается значения 'суп' в пехлевийском, то такое значение отмечено в турецком, кар. к. т., тат., баш. Правомерно поэтому считать, что раньше других тюркских языков среднеперсидское *aš* проникло в старогузские и некоторые кыпчакские языки, откуда оно распространилось в другие языки, приняв в последующем соответствующие формы и изменив свои значения.

Межтюркская основа *ахшам* ~ *акшам* и т. д. со значением 'вечер' и другими известна в огузских, кыпчакских языках, а также в узбекском, уйгурском *Kāšg. D.₁₄*, *АФ₀₆₆*, *Korkut₇*. Его источником является, вероятно, согд. *γšp* — (E. Benveniste. Textes sogdiennes, éditées, traduits et commentés. Paris, 1940, 206), *γšph* (Согдийские документы с горы Муг, вып. II. М., 1962. 193 — 5 стр. сверху), которым соответствует пехлевийское *šam* (Chr. Bartholomae. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904, колонка 553) и позднеавестийское *xšāfīna* 'ночь', 'вечернее время' (там же). Только в турецких диалектах сохранились древние формы этого иранско-го заимствования: *agšam* и *ašam* с долготой во втором слоге; форма с *-x-* *ахшам* сохранилась в турк. диал. (Куренов — Ставр.₂₃₇), аз., кар. к., кум., *Kāšg. D.*, *АФ* и *Korkut*. Правомерно поэтому предположить, что рассматриваемая основа сначала вошла в некоторые огузские и близкие им кыпчакские диалекты, откуда она могла распространиться в другие тюркские диалекты.

Лексическая основа *арча* 'можжевельник', 'сосна' представлена во всех ареальных группах, кроме северо-восточной: *арча* в кир., уз., сюг., лоб., Рав. С.₁₂, *Vámbéry ČSprg.₂₀₆*, *а(р)ча* уйг., *арша* каз., ккал., *арча(н)* тат., *арса* баш., *арж*, *а* уз. диал. Абдуллаев — Хор. III.₁₉, *эччэ* уз. диал. Джураев — Шахрияб.₉₇. Посредником в распространении *арча* явился, по-видимому, староузбекский язык.

Общетюркская основа *аршын* ~ *арчын* и т. д. 'аршин' также является старым заимствованием из иранских языков: ср. новоперс. *arīš* 'локоть' (Гаффаров I, 21), *آرچ*, *ارج* (Ягелло₄₈); более старые формы: санскр. *agaśan* 'локоть' (мера длины).

Исходные иранские формы *ariš* и *آرچ* сохранились в турецких диалектах и памятниках: *erş*, *erēş* 'локоть'. Таким образом, правомерно признать, что раньше других тюркских языков иранская основа проникла в огузские языки, откуда она могла распространиться в кыпчакские и другие. Источником турк. *арчын*, уйг. *а(р)чин* и лоб. *ачин* является иранское *آرچ*.

В иных случаях определить ближайший источник иноязычного общетюркского заимствования затруднительно, даже для поздних периодов. Такова, например, общетюркская основа *ахта* ~ *акта* и т. д. 'мерин' и проч. — иранское *اخته* в том же и других значениях (Гаффаров 1, 14), засвидетельствованная в тюркских источниках едва ли ранее XIV в., а в монгольских — на столетие раньше. Однако остается неясным, имеем ли мы в данном случае дело с самостоятельным заимствованием основы разными тюркскими языками или диалектами из иранского источника или распространением ее из одного или нескольких тюркских языков в остальные.

То же можно сказать о другом заимствовании — *арак₁(ы)*, *арак₁(а)* 'водка, арака', имеющем, впрочем, почти евразийское распространение.

За вычетом рассмотренных разрядов общетюркских лексических основ остается большой и фундаментальный по своему удельному весу массив общетюркских непервичных, т. е. производных лексических основ, о путях возникновения которых пока что можно только задумываться.

Принято считать — на этом особенно настаивают в западноевропейской тюркологии — что все такие основы начинались с единых форм в эпоху общетюркского языка и в дальнейшем принимали разный фонетический облик в зависимости от ареала: юго-западного, северо-западного и т. д.

Можно, однако, отобрать большое число общетюркских лексических основ чисто тюркского происхождения, которые вряд ли следует относить к эпохе нераздельного состояния тюркских языков. Назовем лишь некоторые из них: *авул* 'село', 'аул', *ак₁ча* 'серебряная монета', 'деньги', *аргач/арк₁аг/аргак₁* и т. д. 'уток', 'уточные нити', *а: рык₁/арык₁* 'арык', 'канал', *ейер* 'седло', *арыш/ериш* 'оглобля', *үгре/үйре* 'каша', 'крупя', *инек* 'корова', *и: нж₁и/инж₁и* 'доля в наследстве', *олтан₁/ултан₁/ултун₁* 'подметка', 'подошва', *орду/орда* 'орда', 'резиденция правителя', *ө: рдек/өрдек/өдүрек* 'утка', *орам/урам* 'квартал', 'район', 'улица', *үзенги/үзен₁и* и т. д. 'стремя' и др.

Все эти основы и особенно те из них, которые имеют значение *termini technici*, предполагают развитые общественные отношения и формы хозяйства, а также непервобытную технику, соответствующие историческому периоду, далеко отстоящему от праязыка.

Поэтому правомерно допустить, что указанные и подобные им лексические основы могли образоваться в отдельных племенных языках или диалектах и распространиться на другие, либо же образоваться параллельно в ряде пунктов тюркской лингвистической территории, как это могло быть, например, с глаголом *агла-* (*й*)*ыгла-* и т. д. 'плакать', который по образованию должен быть поздним, так как его производящая основа *агы* 'плач', 'стенание' сама является производной, вторичной.

Рамки статьи не позволяют нам коснуться еще одного важного вопроса — отношения между общетюркским и ареальным явлением. Отметим лишь один момент.

Как известно, явления, присущие одному ареальному объединению, время от времени встречаются и в других ареалах, особенно в диалектах. Так, например, чередование *-й- ~ -д- ~ -з-...* или явления ротацизма и ламбдаизма можно встретить в диалектах турецкого, узбекского и других языков, в которых наряду со «своими» формами порою встречаются и «чужие» формы одних и тех же слов.

Такие факты усиливают вероятность того, что ареальные различия в тюркских языках своими корнями уходят в глубокую древность, в эпоху нераздельного состояния тюркских языков. Однако само формирование ареальных диалектов и племенных языков должно быть отнесено к сравнительно поздним процессам, приведшим к распаду языка-основы на диалектные объединения, откуда в дальнейшем выделились еще более тесные объединения, как, например, кыпчакское и огузское из одной кыпчак-огузской общности.

Поэтому вряд ли был прав В. Банг, когда он оперировал терминами *ursagaish* или *urosmanisch* (W. Bang. *Beiträge zur türkischen Wortforschung*, I. Turan, 1918, 298, примечание 19). Сагайский диалект приобрел свою специфику в процессе развития, а турецкий язык вообще сформировался, можно сказать, на глазах истории.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Абдуллаев — Ф. А. Абдуллаев. Фонетика хорезмских говоров. Ташкент, 1967.
- Abû H. — Ahmet Caferoglu. *Abu-Hayyân Kitab al-Idrak li-lisân al-Atrâk*. Istanbul, 1931.
- Analyt. In. — W. Bang. *Analytischer Index*. Berlin, 1931.
- АФ — П. М. Мелиоранский. Араб-филолог о турецком языке. СПб., 1900.
- Боровков — Бад. — А. К. Боровков. «Бада'и'-ал-лугат». М., 1961.
- Brockelmann — Carl Brockelmann. *Mitteltürkischen Wortschatz, nach Maḥmūd al-Kāsyarī Divān luḡat āt-Türk*. Budapest, 1928.
- Будагов — Л. Будагов. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, т. I. СПб., 1968; т. II. СПб., 1871.
- Vámbéry Cs. — H. Vámbéry. *Čagataische Sprachstudien*. Leipzig, 1867.
- Gabain — A. von Gabain. *Alt türkische Grammatik*. Leipzig, 1950.
- Гаффаров — М. А. Гаффаров. Персидско-русский словарь, I—II. М., 1914—1927.
- ГАЯ — «Грамматика алтайского языка». Составлена членами алтайской миссии. Казань, 1869.
- Грунин — Т. И. Грунин. Документы на половецком языке XVI в. М., 1967.
- Джураев — Б. Джураев. Шахриябзский говор узбекского языка. Канд. дисс. М., 1960.
- ДТС — Древнетюркский словарь. Л., 1969.
- El. Idr. — Velet Izbudak. *El-Idrak haşiyesi*. Istanbul, 1946.
- Ettuhfet — «Ettuhfet-üz-zekiyye fil lûgat-it-Türkiyye», çeviren Besim Atalay. Istanbul, 1945.
- Zajaczkowski, St. II — Ananiasz Zajaczkowski. *Słownik arabsko-kipczacki z okresu Państwa Mameluckiego. Buḡat al-Mustak fī luḡat at-türk wa-l-Qifzaq*, II. Verba, Warszawa, 1954.
- Ibnü M. — Aptullah Battal. *Ibnü-Mühenna lûgati*. Istanbul, 1934.
- Kāsg. D. — M. Kaşgarı. *Divanü lûgat-it-Türk tercümesi*, çeviren Besim Atalay, I—III. Ankara, 1939—1941.
- Castren — Versuch einer koibalischen und karagassischen Sprachlehre, nebst Wörterver Zeichnissen aus den tatarischen Mundarten des Minnusinschen Kreises, édité par A. Schiefner. St. Petersburg, 1857.

- KW — K. Grönbech. Komanisches Wörterbuch. Köbenhavn, 1942.
- Korkut — M. Ergin. Dede Korkut kitabı. Istanbul, 1962.
- Куренов — С. Куренов. Особенности туркменского говора Северного Кавказа (Ставрополья). Ашхабад, 1959.
- Qutb. — Ananiasz Zajaczkowski. Najstarsza wersja turecka Husrāw u Sirin Qutba. RO, XIX, 1954.
- МА — Монгольский словарь Мукаддимат ал-адаб, I—II. М.—Л., 1938.
- Малов — С. Е. Малов. Памятники древнетюркской письменности, тексты и исследования. М.—Л., 1951.
- Рав. С. — M. Pavet de Courteille. Dictionnaire turk-oriental. Paris, 1870.
- Р — В. В. Радлов. Опыт словаря тюркских наречий, I—IV. СПб., 1888—1911.
- TS — Türkce Sözlük. Ankara.
- USp. — W. Radloff. Uigurische Sprachdenkmäler. Л., 1928.
- Çarh. — Ahmed Fakih. Çarhname, yayınlıyan ve işleyen Mecdud Mansuroğlu. Istanbul, 1956.
- Şeyhi — «Şeyhi Divanı». Istanbul, 1942.
- Ягелло — И. Д. Ягелло. Полный персидско-арабско-русский словарь. Ташкент, 1910.
-

Э. Р. ТЕНИШЕВ

К ПОНЯТИЮ «ОБЩЕТЮРКСКОЕ СОСТОЯНИЕ»

Тюркское языкознание, стремящееся освоить пути и усвоить приемы сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков и применить их к своему материалу, естественно, использует и соответствующие понятия и термины.

Одним из основных понятий этого плана и является то, что передается термином «общетюркское состояние». В научной литературе встречаются и другие термины, эквивалентные названному: «тюркский праязык», «тюркский протоязык», «тюркский язык-основа».

Терминально и по существу вполне понятно, что скрывается за этими словами. Неясна пока материальная наполненность, само содержание понятия ввиду отсутствия какого-либо опыта в тюркской компаративистике.

Поэтому тюрколог, приступая к интересующей его теме, оказывается в крайне затруднительном положении и вынужден руководствоваться лишь общими соображениями и тем очень немногим конкретным, что может предоставить ему литература. Но все же с чего-то надо начинать.

Что же представляет собой «общетюркское состояние»?

Под этим и другими синонимичными терминами следует понимать первоначальную тюркскую языковую общность, тот гипотетический язык (или точнее — языки, диалекты) тюркских племен, который реконструирован сравнительно-историческим методом. Иными словами, это набор признаков всех уровней языка — признаков восстановленных и условно считающихся древнейшими — и вместе с тем организующее средство для всякого рода сравнительных исследований групп языков и, образно выражаясь, точка отсчета при составлении историй отдельных тюркских языков. «Сравнительная грамматика есть система связей между исходным языком и развившимися из него языками», — утверждал А. Мейе¹.

Следовательно, необходимо прежде всего восстановить «исходный язык», а затем уже «систему связей» и соотношений его с современными языками.

Контуры этого исходного общетюркского языка на фонетическом уровне наметил, как известно, Н. Н. Поппе в своей «Сравнительной грамматике алтайских языков».

Общетюркское состояние Н. Н. Поппе делит на два периода — претюркский (vortürkisch) и пратюркский (urtürkisch) с синхронным ему

¹ А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.—Л., 1938, стр. 52.

прачувашским (proto-tschuwaschisch). Будучи убежденным алтаистом, т. е. сторонником происхождения тюркских, монгольских, тунгусо-маньчжурских и корейского языков из единого источника, — Н. Н. Поппе предтюркский период непосредственно возводит через тюрко-монголо-тунгусо-маньчжурское состояние к общеалтайскому языковому единству, а пратюркский и прачувашский связывает с современными тюркскими и чувашским языками².

Общетюркское языковое единство отделилось, по мнению Н. Н. Поппе, от общеалтайского в неопределенный отрезок времени и развивалось далее самостоятельно. Этот предполагаемый язык обладал целым рядом инноваций сравнительно с общеалтайским состоянием.

1. Анлаутное *p изменилось в *h (*p > *h), например: общеалтайск. *puḡka > *huḡka, о чём можно судить по тюркскому слову hurok 'силок, сети', усвоенному венгерским языком.

2. Общеалтайские согласные *k и *g сохранились в основах только с передними гласными, а в основах с задними гласными стали употребляться их рефлексы *q и *γ, например: общеалтайск. *ege- > eg- 'сгибать', общеалтайск. *kaḡa > *qaḡ > тюрк. qaz, чув. хуḡ 'гусь'.

3. Общеалтайские начальные *k и *g дали в итоге глухие *k и *q, например: общеалтайск. *gaḡ > qaḡi 'плечо, локоть' и qaḡiṣ 'пядь'.

4. В начальную эпоху общетюркского состояния анлаутные *p, *p', *d, *z, *j были еще релевантны, как можно судить по старотюркским заимствованиям в венгерском, например: венг. nyár 'лето' общеалтайск. *pār > тюрк. jaz, чув. sur 'весна'. Позже названные пять согласных слились в один общий *j, например: общеалтайск. *pāl 'слеза' > *jal > тюрк. jaṣ, чув. sul; общеалтайск. *zīg- 'писать' > *jīḡ- > тюрк. jaz-, чув. sir-; общеалтайск. *jadaγin 'пешком' > древнетюрк. jadaγ, чув. suran.

5. Общеалтайск. анлаутное *m стало *b (*m > *b), например: тунг. 'печаль, тяготы' > древнетюркск. buḡ.

6. Различие между долгими и краткими гласными исчезло, и долгие перешли в краткие. Все безударные конечные гласные элидировались, например: общеалтайск. *ēge 'мужчина' > *ēḡ > тюрк. āḡ, eg, iḡ.

Предтюркский период характеризуется признаками г и l, которые позже развились в z и š, например: венг. iḡ- 'писать' = общеалтайск. *jīḡ- > тюрк. jaz-; венг. kölyök 'щенок' = общеалтайск. *köl'āk > тюр. köšāk 'звереныш, верблюжонок'.

В позднепредтюркскую эпоху произошла дифференциация на г, l-диалект и z, š-диалект. Во втором — z является рефлексом г, а š — рефлексом l. Старый болгарский язык и его потомок чувашский представляют собою ступени эволюции г, l-диалекта, а древнетюркские и все современные тюркские языки восходят к z, š-диалекту.

Диалект z, š и есть пратюркский. Такова схема общетюркского состояния Н. Н. Поппе³.

Нельзя не признать в ней по меньшей мере два рациональных момента. Один из них состоит в том, что схема ориентирована на дальнюю историческую перспективу. Как бы ни относиться к алтайской теории —

² N. Poppe. Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen. Teil I. Vergleichende Lautlehre. Wiesbaden. 1960, стр. 8.

³ Там же, стр. 153—155.

признавать ее или отвергать — невозможно не учитывать следующие обстоятельства:

1. Известная, пусть слабо выраженная, степень родства все же наблюдается между языками, входящими в алтайскую группу, что позволило Н. Н. Поппе прийти даже к выводу о том, что тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки хранят в себе реликты некоего древнего языка, подтверждаемые регулярными, не знающими исключений фонетическими соответствиями⁴.

2. Поскольку при реконструкциях в процессе восстановления тюркских праформ полезнее иметь обилие информации, чем ее недостаток, алтаистический материал необходим еще и для проверок, уточнений и справок.

Следовательно, соблюдая конструктивный подход к делу, для реконструкции общетюркского языка-основы целесообразно исходить из родства алтайских языков — пусть еще не доказанного — и сохранить идею глубокой перспективы.

Второй, несомненно положительный момент в построениях Н. Н. Поппе — это признание целой эпохи формирования и развития общетюркского языка-основы, что выразилось в двухчленной его периодизации.

Действительно, процесс формирования общетюркского языка-основы, закончившийся в конце концов его распадением, процесс, охватывавший, несомненно, большой промежуток времени, не мог быть на всем своем протяжении единообразным. Условно он может быть представлен в виде двух хронологических срезов: раннеобщетюркского и позднеобщетюркского. Соответственно этому реконструкция может быть разделена на «дальнюю» и «ближнюю». Каждый из этих периодов обладает набором конститутивных признаков.

Раннеобщетюркский, выделившийся из алтайской языковой общности, по сравнению с позднеобщетюркским характеризуется большей архаичностью: например, наличием г, л (вм. з, š), анлаутных глухих и звонких р, т, к и в, д, г, противопоставлением восьми пар кратких и долгих гласных, род. п. на -уң, дат. — на -а, вин. — на -уу, местн. исх. — на -да, прошедшим временем с формантом -ду, настояще-будущим — с формантом -г.

Позднеобщетюркский обладает уже рядом новшеств по сравнению с ранним периодом: наличием г, л и з, š, нарушением системы анлаутных глухих и звонких, с одной стороны, и расширением ее за счет пары увулярных q и ɣ — с другой, выпадением различия между краткими и долгими гласными, трансформацией падежной парадигмы — род. п. на -пуң, дат. — на -qa, направ. -qadı и -гı, вин. — на -уу и -пу, местн. на -да, исх. на -dan, -дун, инструм. — на -уп, развитием временной парадигмы: настояще-будущее — на -г, прошедшее — на -du, -туš, -уап.

Поздний период общетюркской эпохи является переходным от раннеобщетюркского к отдельным группам тюркских диалектов. Именно в этот период складываются тенденции, которые в дальнейшем привели к формированию новых, более мелких языков-основ, из которых постепенно выделялись отдельные тюркские языки. Необходима реконструкция и этих языков-основ, т. е. языка (или языков) огузской, кыпчакской, карлукской, уйгурской, кыргызской и других групп. Если, как показал К. К. Юдахин, в основе современных уйгурского и узбекского языков лежит один язык, который можно было бы восстановить, то для огузских языков сказать этого нельзя, в группе кыпчакских — картина еще слож-

⁴ Н. Порре. Указ. соч., стр. 5.

нее, а в остальных группах — сибирского ареала — приходится допустить наличие нескольких языков-источников. В данном случае на помощь должна прийти лингвогеография, которая выявит изоглоссы связи тюркских языков между собой. Тем самым будут установлены промежуточные языковые общности и уточнена генеалогическая классификация тюркских языков. Это в свою очередь, сыграет определенную роль в разработке общей сравнительно-исторической грамматики тюркских языков.

Высказанные здесь соображения о тюркских общих и частных языковых состояниях носят полностью предварительный характер и не претендуют на полноту и окончательность. Только дальнейшие исследования и время могут наполнить эти пока умозрительные схемы более или менее достоверным содержанием.

А. П. ДУЛЬЗОН

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЩЕТЮРКСКОЙ СИСТЕМЫ ЗВУКОВ

При реконструкции архетипа по известному ряду звуковых вариантов обычно поступают следующим образом:

а) устанавливают последовательность в изменении артикуляции, по которой возможно вывести из предполагаемого архетипа все известные варианты (логический критерий);

б) по письменным памятникам находят диахронический ряд соответствий всех вариантов (исторический критерий);

в) моделируют систему звуков для данного отрезка времени, все без исключения клетки которой заполняются известными и некоторыми гипотетическими вариантами (типологический критерий).

Как правило, не ограничиваются одним критерием, так как в отдельности ни один из них не является достаточным. Приведем примеры.

В немецких диалектах существует синхронический ряд соответствий: $p \sim rh \sim pf \sim f$, который возводят к $*p: p > rh > pf > f$. Развитие в обратном порядке ($f > pf > rh > p$) трудно себе представить, а развитие из pf путем расщепления на два звука не получает подтверждения в истории немецкого языка.

В енисейских языках имеется аналогичный ряд чередования: $p \sim rh \sim h \sim f \sim \text{нуль}$, который можно было бы возвести тоже к $*p: p > rh > pf > f > h > \text{нуль}$. Однако так как в протоенисейском все звуки представляли собою морфемы, а для $*p$ никакого значения не удастся восстановить, то надо думать, что исходным звуком был $*h: h > f > p, rh$. Обоснование: только два согласных в протоенисейском не имели своего особого значения — h и $?$ — они были нужны для реализации двух конкретных тонов.

При отсутствии или недостаточности письменных свидетельств прошлого реконструкция звуков становится более трудной и проблематичной; без учета всех вариантов по всем родственным языкам и диалектам к ней нечего и приступать. Приведем пример. Два диалекта кетского языка связаны соответствием имб. $l \sim \text{сым. г}$. Объяснить эту связь стало возможным только после детального обследования кетских говоров, в результате которого выяснилось, что в имбатских говорах чередуются $l \sim lg$, а в сымских $г \sim lg$. Отсюда можно уверенно заключить, что в этом ряду исходным звуком являлся звук lg .

Нередко имеющийся в распоряжении материал дает основание для совершенно различных толкований. Так, например, ряд чередований $j \sim d' \sim i' \sim \check{s}' \sim s'$ и др. возводится одними учеными к j (М. Ряснянен, Г. Рамстедт, Н. Поппе), а другими к пратюркскому ϕ (А. М. Щер-

бак) или к общеалтайскому d , перешедшему в пратюркском в j через θ (К. Менгес).

Путь развития этого звука, как его описывает А. М. Щербак¹, неубедителен потому, что не объясняет причину перехода исходного твердого согласного в мягкие (s' , $\dot{s}'$, t' , $\dot{c}'$); кроме того, предполагаемый исходный звук фактически не представлен среди вариантов синхронического и диахронического рядов чередования.

Если допустить, что праформа прямо или косвенно сохранилась среди живых вариантов, то весь указанный ряд без натяжек можно возвести

к j и его глухому соответствию ζ следующим образом: а) $j > d' > z' > \dot{z}' > z' > z$; б) $\zeta > t' > \dot{c}' > \dot{s}' > s' > s$. Преимущество такого объяснения состоит в том, что оно не содержит ни одного теоретически постулированного звука, в то время как в схеме развития А. М. Щербака таких звуков четыре (θ , t , $\dot{c}$, $\dot{s}$). Если же иметь в виду, что употребление рассматриваемого ряда ограничено позицией перед гласным, то можно предположить, что j восходит к i , которое, будучи ударным, сохранялось, а с появлением конечного ударения, став неслоговым, могло консонантироваться полностью, например: $ja't$ 'лежи' могло когда-то иметь форму $*ia't$. Такого мнения, по-видимому, придерживается И. Бенцинг в отношении тунгусо-маньчжурских языков. Однако приведенные соображения, несомненно, уточняющие ход развития, не обладают достаточной доказательностью.

Наиболее убедительным следует считать фономорфологический анализ, который выявляет обязательность данного звучания в составе морфонемической оппозиции. Проведение такого анализа возможно путём сравнения с отдаленно-родственными языками, в данном случае с енисейскими, имеющими схожий ряд чередования ($i \sim j \sim d' \sim \dot{c}'$), в котором i раскрывается как показатель формы состояния, являющийся коррелятивом к немаркированной форме действия (ср. кет. $d'at$ 'он лежит'). Доказательность подобных сопоставлений будет расти по мере дальнейшей обоснования гипотезы о наличии отдаленного родства².

Поиски архетипов должны проводиться: а) путем изучения вариантов внутри данного языка или подгруппы близкородственных языков для получения теоретической праформы этого языка или подгруппы языков, б) путем изучения вариантов в языках более отдаленного родства для установления архетипов внутри каждого из них и в их группах.

Сопоставление полученных теоретических праформ позволит уточнить общий вывод о единой форме (или некотором количестве вариантов) для определенного времени (общетюркская форма, общемонгольская, общетунгусо-маньчжурская, общеалтайская, общефинская, общегорская, общесамодийская, общеуральская, общеурало-алтайская).

Рассмотрим пример, относящийся к способам образования множественного числа местоимений и отместоименных аффиксов, посредством которых образуются формы лица и числа у глаголов.

Г. И. Рамstedт, учитывая тюркские, монгольские и тунгусские данные (всё в одной плоскости), восстанавливает для общетюркского времени $*mip$ 'я', $*sip$ 'ты' из корреляции с формой множественного числа $bi-z$, $si-z$.

Тут сразу возникает сомнение потому, что форма с i , единично представленная в современных тюркских языках, без убедительных причин рассматривается как реликтовая. Ф. Г. Исхаков допускает существова-

¹ А. М. Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970, стр. 160.

² Ср.: Вопросы лингвистики, вып. 2. Томск, 1969, стр. 110 и сл.

ние вариантов *maŋ, māŋ, meŋ, miŋ; *saŋ, sāŋ, seŋ, siŋ уже в древнее время, постулируя а-огласовку по чувашскому языку и дательному падежу личных местоимений многих тюркских языков. К. Менгес реконструирует для тюркских языков *bāŋ, *sāŋ, остроумно объясняя возникновение а-огласовки путем ассимиляции корневого гласного с гласным суффикса -а. Вместе с тем он считает, что в именительном падеже звук b восходит к m потому, что эта форма распространена также в уральских и индоевропейских языках.

Сопоставление с енисейскими языками переносит вопрос из области фонетики в область морфонемики. В кетском языке одинаково возможны a-baŋa или a-biŋa 'мне' (ср. тюрк. maŋa, miŋä), но первоначально в кетском между этими вариантами имелось смысловое различие: «мне (мужчине) — мне (женщине)»; аналогично и в 3 л. ед. ч.: кет. a, *ad 'он, его', i, id 'она, ее' (ср. тюрк. *an, *in 'его'). Но это различие было утеряно уже в доалтайском.

Обращаясь к енисейским языкам, можно объяснить также наличие п в форме единственного числа (енисейский классный показатель d); b или ba — показатель 1-го л. Отпадение п < d связано с перестройкой классного языка в неклассный, начавшейся уже внутри енисейских языков и прежде всего охватившей языки, из которых произошли монгольские и тунгусо-маньчжурские (ср. тунг. bi 'я', монг. č'i < *ti 'ты', тунг.-маньч. si 'ты', маньч. i 'он'). В тюркских языках десемантизированный древний классный показатель стал частью основы слова.

Показатели множественного числа у отместоименных глагольных аффиксов в алтайских языках входят в ряд z, s, t, r, п. Если иметь в виду, что в енисейских языках этому показателю соответствует п, то развитие его в алтайских языках можно представить себе так:

$$n > tv > *d > *δ \begin{cases} \nearrow r \\ \searrow z > s \end{cases}$$

В тюркских языках имеются все варианты, кроме первого, который характерен для тунгусо-маньчжурских языков. При такой ситуации вполне возможно допустить для пратюркского языка наличие двух вариантов, с t и d.

Если принять толкование Н. Поппе якутских форм bihiŋi 'мы' < *bisigi < biz-iŋ-ki и ähiŋi 'вы' < *äsigi, ihigi < *isigi < siz-iŋ-ki, то окончание t в отместоименных аффиксах нужно рассматривать как реликтовую форму.

Такой же реликтовой формой могло бы показаться окончание r в эвенк. māŋ, содержащееся в предикативной форме māŋiŋwār 'свой (наш, ваш, их)' в сравнении с māŋiŋwi 'свой (мой, твой, его)'. Сопоставление с кетским выявляет енисейскую основу biŋ, beŋ, например: кет. biŋ-de-bai 'ставшее своим (моим)', к которой может восходить эвенк. māŋiŋwi < *māŋ-n-iŋ-iwi < māŋdiŋibai, где d — классный показатель. Но к этой енисейской форме с п эвенкийская с r, очевидно, восходить не может.

Сохранившаяся в длинном морфонемическом ряду вариантов единичная форма может быть определена как реликтовая благодаря сопоставлению с отдаленно-родственными языками. Так, например, глагольное окончание 2 л. ед. ч. в алтайских языках составляет ряд: -ŋ, -siŋ, -s, -si, -ti, -č'i, -yi. Учитывая кетские варианты uŋ — qu, uŋ — yu, ik — ki, iŋ — yi 'ты', мы можем восстановить ход развития этого аффикса в алтайских языках следующим образом:

- а) $ki > gi > \gamma i > \varsigma i > si$ для тюркских и тунгусо-маньчжурских,
 б) $ki > ti > \check{c}i > *š'i > si$ для монгольских языков.

Что монгольские языки развивались по второму пути доказывается наличием форм $\check{c}'i$ 'ты' — ta 'вы' $< *ti$ — ta .

Варианты 2 л. ед. ч. на п восходят к γi , ср. тат. 2 л. мн. ч. $\gamma i-z \sim$ ед. ч. $*\gamma i$, якут. $gi-t$, $ki-t \sim$ ед. ч. $*gi$, ki^3 . Предикативное окончание 2 л. ед. ч. $-si\eta$ совпадает с соответствующим по функции окончанием в кетском языке (кет. $qo\eta \sim qi\eta$).

=====

³ См.: В. Котвич. Исследование по алтайским языкам. М., 1962, стр. 168.

Э. А. МАКАЕВ

ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

До недавнего времени многим компаративистам казалась проблематичной и сомнительной возможность построения сравнительной грамматики тюркских языков. Так, А. Мейе подчеркивал: «Построение сравнительной грамматики индоевропейских языков оказалось возможным именно потому, что все эти языки изобилуют аномалиями. Наоборот, языки со вполне регулярной морфологией, как, например, тюркские, плохо поддаются сравнению, и поэтому нелегко установить, с какими языками находятся в родстве тюркские языки»¹. Данное положение А. Мейе в свете современного состояния сравнительного языкознания является несостоятельным по следующим соображениям:

1. Невозможно согласиться с А. Мейе в том, что наличие значительного количества аномалий в индоевропейских языках обеспечило возможность построения сравнительной грамматики данной семьи языков. Достаточно указать на то, что Ф. Бопп, разрабатывая впервые в истории сравнительного языкознания сравнительную грамматику индоевропейских языков, опирался на результаты анализа регулярных именных и глагольных парадигм в разных языках². Нам приходилось уже обращать внимание на следующее обстоятельство: «В связи с вопросами «горизонтальной» и «вертикальной» реконструкции следует подчеркнуть, что можно лишь в известной мере согласиться с положением А. Мейе, что для реконструкции праязыковой системы особое значение имеют именно архаизмы и разного рода аномалии. Аномалии чаще всего представляют диспаратный ряд, и хотя они включаются в систему языка и функционируют в ней наряду с другими явлениями, они в ходе развития языка обнаруживают тенденцию к выпадению из языковой системы. В качестве примера можно указать на весьма типичный для индоевропейских языков процесс тематизации в имени и в глаголе, в орбиту которого попадали и многие «единичные» образования, прежде облеченные в самостоятельную «индивидуальную парадигму». В то же время несомненно, что для внутренней реконструкции «остаточные формы» и аномалии являются опорными пунктами, которые позволяют проецировать языковое состояние в прошлое. Бесспорно одно: в центре реконструкции

¹ А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.—Л., 1938, стр. 66; ср. также на стр. 468: «Сравнительное изучение тем надежнее, чем больше аномальных форм в изучаемых языках».

² См. об этом в книге: В. Delbrück. Einleitung in das Studium der indogermanischen Sprachen. Leipzig, 1919, стр. 62—82.

всегда находятся парадигма (в широком смысле этого слова) и парадигматические отношения. Поэтому и именно поэтому восстанавливать возможно только систему языка»³. К этому следует добавить, что любая реконструкция по своей направленности всегда системна; даже при атомистическом подходе младограмматиков к явлениям языка их реконструкции носили системный характер: достаточно вспомнить постулирование *Nasalis sonans* К. Бругманом для системы индоевропейских сонантов, описание явлений апофонии, постулирование инъюнктива для глагольной системы и пр.⁴ Таким образом, положение А. Мейе сохраняет свою действенную силу не в применении к построению сравнительной грамматики, а в отношении принципа относительной хронологии при описании различных процессов, имевших место в истории отдельных индоевропейских языков.

2. В то же время следует со всей определенностью подчеркнуть, что тюркские языки с вполне регулярной морфологией, как отмечает А. Мейе, обладают не меньшим количеством нерегулярных, реликтовых образований, всякого рода аномалий, чем индоевропейские языки. Не ставя задачи дать в рамках данной статьи полный список подобных реликтовых образований, ограничимся указанием на ряд нижеследующих явлений. Н. А. Баскаков подчеркивает: «Обладая общими признаками, характеризующими все огузские языки, туркменский язык имеет специфические особенности, выделяющие его из других тюркских языков огузской группы: а) наличие первичных долгих гласных — рефлекс древнего происхождения туркменского языка и его связей с восточными тюркскими языками...»⁵ М. Ряснен пишет: «Предметом долгих споров явился вопрос о том, существовало ли в древнетюркском языке какое-либо различие между долгими и краткими гласными... Вопрос был решен, кажется, в положительном смысле только после появления русско-туркменского словаря... А. Алиева и К. Бориева (Ашхабад, 1929), в котором были ясно обозначены различия в долготе (долгота обозначалась, как и в финском языке, двойной гласной) и благодаря которому выяснилось, что эти различия исключительно точно соответствуют различиям по долготе в якутском языке...»⁶ В. Котвич отмечает: «Тюркский вспомогательный глагол *ä-, äp-* является недостаточным глаголом; старые памятники и живые диалекты сохранили только несколько его форм...»⁷ Перечисляя особенности чувашского языка, Н. А. Баскаков утверждает: «Эти связи с языками монгольскими и тунгусо-маньчжурскими указывают на весьма древнее состояние фонетической структуры булгарского, хазарского и чувашского языков, что открывает широкие перспективы для сравнительно-исторического изучения процессов развития как тюркских, так и остальных языков алтайской семьи»⁸. В отношении тувинского языка Н. А. Баскаков замечает: «Тувинский язык обладает, с одной стороны, общими чертами, объединяющими эти языки в одну подгруппу..., а с другой — специфическими чертами, выделяющими его как особый язык. К последним особенностям относятся следующие: ... 2) в грамматическом строе: а) своеобразная форма условного наклонения: *барзымза*

³ Э. А. Макаев. Синхрония и диахрония и вопросы реконструкции. — В сб.: «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков». М., 1960, стр. 151.

⁴ Э. А. Макаев. Проблемы и методы современного сравнительно-исторического индоевропейского языкознания. — «Вопросы языкознания», 1965, № 4, стр. 3—6.

⁵ Н. А. Баскаков. Тюркские языки. М., 1960, стр. 124.

⁶ М. Ряснен. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1953, стр. 59.

⁷ В. Котвич. Исследование по алтайским языкам. М., 1962, стр. 280.

⁸ Н. А. Баскаков. Указ. соч., стр. 115; см. также: В. Г. Кондратьев. Очерк грамматики древнетюркского языка. Л., 1970.

‘если я пойду’, а также параллельные древние формы по диалектам: *бардым эрзэ* ‘если я пойду’, ‘если я пошел’; б) наличие многообразных деепричастных форм и др.»⁹.

Все эти выборочно приведенные высказывания, число которых можно во много раз увеличить, позволяют сделать два вывода: а) для тюркских языков как языков агглютинативных характерно наличие наряду с регулярными парадигматическими образованиями значительного количества реликтовых, аномальных, нерегулярных образований, что не только не препятствует, а скорее способствует построению сравнительной грамматики тюркских языков; б) типологические особенности тюркских языков как языков агглютинативных не являются помехой для построения сравнительной грамматики тюркских языков, или, другими словами, языки любого типологического строя, родственные отношения между которыми точно установлены, позволяют реконструировать свое исходное состояние, допускают применение принципа относительной хронологии явлений разных уровней языка и делают тем самым возможным построение сравнительной грамматики соответствующих семей языков. Тюркские языки не представляют в этом отношении исключения.

3. Наконец, невозможно согласиться с А. Мейе, когда он подчеркивает, что «тюркские (языки. — Э. М.) плохо поддаются сравнению, и поэтому нелегко установить, с какими языками находятся в родстве тюркские языки» (см. об этом выше). Прежде всего обращает на себя внимание прямое соположение между установлением родственных отношений в пределах определенной языковой семьи и установлением родственных отношений между различными языковыми семьями. Ведь хорошо известно, что родственные отношения между индоевропейскими языками давно установлены, а отношения между индоевропейскими и другими языковыми семьями (семитской, хамитской, алтайской и т. д.) продолжают оставаться совершенно невыясненными. Кроме того, родство тюркских языков с рядом алтайских языков, по крайней мере с монгольскими языками, не может вызывать никаких сомнений¹⁰. Именно наличие значительного количества тюрко-монгольских корреспонденций на разных уровнях языка, указывающих, по нашему мнению, на наличие генетических связей между данными языковыми семьями, а не возникших вследствие продолжительных языковых контактов или втягивания тюркских и монгольских языков в один и тот же языковой союз, в значительной мере облегчает построение сравнительной грамматики тюркских языков. Однако следует тут же оговорить, что наличие тюрко-монгольских корреспонденций ничего еще не говорит о степени родства между этими языковыми семьями, ибо в ряде случаев остается неясным, имеем ли мы дело с генетически родственными формами или с заимствованием из тюркских языков в монгольские и наоборот. Не приходится специально оговаривать, что заимствования, в каком бы количестве они ни встречались, ничего не говорят о генетических связях двух языковых семей. Так, В. Котвич указывает на то, что «в монгольском языке имеется слово *busu* (варианты *buši*, *biši*) ‘не этот, иной, нет’. Несмотря на многочисленные попытки установить его происхождение, этого сделать

⁹ Н. А. Баскаков. Указ. соч., стр. 193.

¹⁰ Из огромной литературы по данному вопросу укажу лишь на сл.: В. Котвич. Указ. соч.; Г. И. Рамstedt. Введение в алтайское языкознание. М., 1957; N. Porre. Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen. Teil I. Wiesbaden, 1960; М. Ряснен. Указ. соч. — В сб.: «Проблема общности алтайских языков». Тезисы докладов. Л., 1969; Ural-Altaische Jahrbücher, 41, Н. 1/4, 1969; Bj. Collinder. Sprachverwandschaft und Wahrscheinlichkeit. Uppsala, 1964.

до сих пор не удалось, а между тем проще всего было бы объяснить его как заимствование из тюркского: $bu - su < *bu - s\ddot{u}z$ ¹¹.

По-видимому, данное объяснение В. Котвича не является единственным возможным, но уже это обстоятельство ясно свидетельствует о том, что в области тюркологии и монголистики предстоит еще значительная работа по разграничению исконно-родственных образований и заимствований в тюркских и монгольских языках. В какой мере данные монгольских языков важны для сравнительной грамматики тюркских языков, покажет будущее, особенно более детальная разработка ряда проблем алтаистики. Но уже сейчас можно утверждать, что без привлечения данных монгольских языков (а в отдельных случаях и других алтайских языков) построение сравнительной грамматики тюркских языков окажется ущербным. Для подтверждения этого положения можно было бы сослаться на разделы, посвященные морфологии имени и глагола в вышеупомянутых трудах Г. И. Рамstedта, В. Котвича, Н. Поппе. Однако в данной работе ограничимся анализом лишь одного явления — происхождения форматива родительного падежа единственного числа в тюркских языках: $-u\eta\| -i\eta$ (в согласных основах), $-u\eta\| -ni\eta$ (в гласных основах). Рассматривая различные объяснения данного форматива, В. Г. Кондратьев приходит к следующему выводу: «По нашему мнению, первичной формой аффикса родительного п. следует считать форму с начальным гласным». В пользу этого говорят данные чувашского и монгольского языков. В чувашском языке аффикс родительного п. $-(\bar{a})n/-(\bar{e})n$ (чув. $\bar{a}$ соответствует $ы$, $\bar{e}$ соответствует $и$ в других тюркских языках). Чувашский язык принадлежит к языкам очень древней формации. В старописьменном монгольском языке аффикс родительного п. начинается с гласного: *кагад-ун* «каганов». Начальные звуки аффиксов родительного и винительного п. обычно совпадают, что говорит об их общем происхождении¹².

Итак, мы приходим к выводу, диаметрально противоположному тому, к которому пришел А. Мейе: если родственные связи между индоевропейскими и неиндоевропейскими языками продолжают оставаться совершенно невыясненными, то родственные отношения тюркских и монгольских языков, несмотря на регулярность морфологического строя тюркских языков, можно считать достаточно обособленными. Думается, что если сравнительная грамматика индоевропейских языков могла опираться на данные значительного количества языков с подчас весьма древней письменной традицией (достаточно указать на то, что гимны Ригведы восходят ко II тысячелетию до н. э., древнейшие хеттские тексты относятся к XIX в. до н. э., древнейшие греческие тексты так называемого линейного письма Б относятся к XIV в. до н. э. и т. д.), что в результате имело прямым следствием создание принципов относительной хронологии, то в сравнительной грамматике тюркских языков отсутствие письменных памятников такой временной глубины (известно, что древнейшие тюркоязычные памятники относятся к эпохе не ранее VII—VIII вв. н. э.) искупается возможностью сравнения тюркских и монгольских языков на основе их генетической общности, а это позволяет значительно расширить временную глубину общетюркского языкового состояния. Нет сомнения в том, что эффективность и доказательность возведения различных явлений того или иного тюркского языка к общетюркской эпохе или общетюркскому языку в ряде случаев будет основываться на возможности контроля со стороны монгольских языков. Из этого поло-

¹¹ В. Котвич. Указ. соч., стр. 127.

¹² В. Г. Кондратьев. Указ. соч., стр. 10.

жения, конечно, не следует делать вывод, что при отсутствии достаточно твердо установленных тюрко-монгольских корреспондентий возведение определенного явления фонетического, морфологического или синтаксического уровней языка к общетюркскому языковому состоянию окажется невозможным. Монография Н. З. Гаджиевой «Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков» наглядно и убедительно продемонстрировала возможность реконструкции основных элементов общетюркского синтаксического строя на основе данных древних и современных тюркских языков. Но в то же время вряд ли можно сомневаться в том, что при анализе синтаксического строя тюркских языков в сравнительно-историческом освещении привлечение соответствующих явлений того же уровня из других алтайских языков, в первую очередь из монгольских, позволит прояснить вопрос о том, имеет ли исследователь дело с исконно родственными образованиями в отдельных тюркских языках, позволяющими их возведение в общетюркское состояние, или речь идет о параллельном, но независимом развитии определенной синтаксической модели в одном или нескольких тюркских языках, что делает невозможным и ненужным ее возведение к общетюркскому состоянию. Ценность монографии Д. Фокоша-Фукса¹³ заключается прежде всего в последовательном и четком проведении данного принципа применительно к урало-алтайским языкам. Следовательно, привлечение данных монгольских языков при построении сравнительной грамматики тюркских языков выполняет двойную функцию: 1) позволяет расширить временную глубину общетюркского языкового состояния и в ряде случаев более выпукло и убедительно представить происхождение определенных явлений в тюркских языках; 2) позволяет провести более жесткое разграничение исконно родственных образований, возводимых к праязыковому состоянию, и образований, являющихся следствием параллельного, но независимого развития в одном или нескольких тюркских языках и не возводимых к праязыковому состоянию. Наконец, привлечение данных монгольских, а в ряде случаев и других алтайских языков, при построении сравнительной грамматики тюркских языков позволит прояснить вопрос о типологических особенностях как отдельных явлений, так и тюркских языков в целом.

¹³ D. R. Fokos-Fuchs. Rolle der Syntax in der Frage nach Sprachverwandtschaft. Wiesbaden, 1962, стр. 11—52 и 123—132.

Н. З. ГАДЖИЕВА

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО СИНТАКСИСА ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

В тюркологической литературе мало специальных работ, посвященных сравнительно-историческому анализу синтаксической структуры тюркских языков. Вместе с тем ряд вопросов, связанных с общей теорией строя тюркских языков, затрагивался в отдельных работах по тюркскому языкознанию (ср. проблему соотношения именных и глагольных конструкций, имеющую давнюю традицию изучения и в полном объеме представленную в трудах Ж. Дени, К. Грэнбека; проблемы соотношения атрибутивных и предикативных конструкций, происхождения генитивных конструкций; путей развития сложного предложения и т. д.).

В истории тюркского языкознания имели место попытки определения тенденций исторического развития отдельных особенностей синтаксической структуры тюркских языков. Можно вспомнить положение К. Грэнбека о развитии множественности на базе собирательности¹, наблюдения А. Н. Кононова и К. Броккельмана относительно склонения предложений в тюркских языках², гипотезы Н. К. Дмитриева³, Э. В. Севортяна⁴ относительно развития притяжательных конструкций и пр.

Для выявления тенденций в историческом движении отдельных синтаксических единиц нужна четкая методика, необходима строго разработанная серия приемов для воссоздания исторической перспективы.

Безусловно, создание сравнительно-исторического синтаксиса тюркских языков наталкивается на целый ряд серьезных объективных трудностей: 1) отсутствие исторических грамматик по многим тюркским языкам; 2) отсутствие письменных памятников на многих тюркских языках (алтайском, карачаево-балкарском, кумыкском, ногайском и др.); 3) невыясненность преемственных связей между целым рядом древних тюркоязычных памятников и современными языками; 4) жанровая неоднородность языка памятников, дифференцированность самих тюркских языков уже в эпоху енисейско-орхонских памятников, и следовательно, существование общетюркского языка-основы в эпоху, значительно отдаленную от времени появления первых памятников на тюркских языках;

¹ K. Grönbech. Der türkische Sprachbau. Kopenhagen, 1936.

² А. Н. Кононов. Тюркологические этюды. — В сб.: «Историко-филологические исследования». М., 1967; C. Brockelmann. Osttürkische grammatik der islamischen Littératursprachen, Mittelasiens. Leiden, 1954.

³ Н. К. Дмитриев. Грамматика башкирского языка. М.—Л., 1948.

⁴ Э. В. Севортян. О некоторых вопросах структуры предложения в тюркских языках. — В сб.: «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», III. Синтаксис. 1961.

5) отсутствие однозначного понимания основных синтаксических категорий или даже самого предмета синтаксиса; 6) отсутствие четко выработанных методов и приемов исследования в области сравнительно-исторического синтаксиса.

В тюркологической литературе, к сожалению, не делалось попыток построения сравнительно-исторического синтаксиса. Метод сопоставлений, широко применяемый в последние годы в работах по тюркскому синтаксису, обходит проблемы историко-генетического порядка, вопрос об общей исторической основе тюркского синтаксиса.

Несмотря на неразработанность единых принципов построения сравнительно-исторического, а также исторического синтаксиса, отдельные попытки в этом направлении все же делались.

1. Прежде всего сюда следует отнести исторические синтаксисы отдельных языков с элементами сравнения с родственными языками. Именно такой тип исторической грамматики является наиболее распространенным. Зарубежное индоевропейское языкознание располагает целым рядом исторических синтаксисов. Во многих из них используются неверные методические приемы анализа: формально-логический, субъективно-психологический подход к языку, противопоставление грамматического логическому⁵. Существенным недостатком многих зарубежных исследований по историческому синтаксису является не только отсутствие разработанной методики их построения, но и четко определенного объекта синтаксического исследования. Авторы сосредоточивают свое внимание не на анализе типов синтаксических отношений и способов их выражения, а на употреблении отдельных падежных и временных форм и т. д. Такого типа исследования находятся на грани морфологии и синтаксиса⁶. Внесение новых методов в область изучения исторического синтаксиса связано с именем А. А. Потебни, установившего принцип исторической изменяемости синтаксических категорий и соответственно — принцип историзма в осмыслении современной синтаксической системы⁷.

Советские языковеды, развивая положения А. А. Потебни, способствовали укреплению исторического направления в языкознании. Исторические синтаксисы конкретных языков, появившиеся в последние два десятилетия, характеризуются выявлением тенденций исторического развития синтаксической структуры, рассмотрением синтаксических изменений в связи с изменениями морфологическими⁸. Подобного рода исторические синтаксисы одного языка, располагающего письменными памятниками, историческая преемственность которых не вызывает сомнений, раскрывают историческое развитие синтаксических единиц на материале, хронологически ограниченном определенным отрезком времени.

2. Сравнительно-исторические синтаксисы, созданные на материале нескольких родственных языков, остаются единичными. В истории языкознания попыток к созданию таких работ было сделано немного⁹, при-

⁵ Wartburg. *Evolution et structure de la langue française*. Paris, 1934 и др. См. подробнее: А. Будагов. Этюды по историческому синтаксису французского языка. — Уч. зап. ЛГУ, серия филол. наук, вып. 14, 1949.

⁶ Ср. О. Schwab. *Historische Syntax der Griechischen Comparation in der klassischen litteratur*. Würzburg, 1894 и др.

⁷ См.: А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике, т. I—II. М., 1958.

⁸ В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. *Историческая грамматика русского языка*. М., 1963; Т. П. Ломтев. *Очерки по историческому синтаксису русского языка*. М., 1956; Я. А. Спринчак. *Очерк русского исторического синтаксиса*. Киев, 1960; В. Н. Ярцева. *Исторический синтаксис английского языка*. М.—Л., 1961.

⁹ В. Delbrück. *Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen*. I. K. Brugmann, B. Delbrück. *Grundriss der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen*. III. Strassburg, 1893; H. Hirt. *Indogermanische grammatik*. I—VII. Heidelberg, 1921—1937.

чем их отличает неудачная методика исследования: а) за основу брался анализ системы разнообразных синтаксических значений изучаемых языков и при этом допускалось смешение разных уровней: морфологического и синтаксического; б) недооценивался фактический материал сравниваемых языков: закономерности развития одного из индоевропейских языков механически переносились на все индоевропейские языки¹⁰.

В последнее время в отечественном языкознании вопросы сравнительно-исторического синтаксиса ставятся по-новому, при этом индивидуальному своеобразию каждого из сравниваемых языков уделяется соответствующее внимание; при реконструкции синтаксических единиц учитываются как их морфологические особенности¹¹, так и степень частоты употребления той или иной конструкции в зависимости от жанра памятника и от времени его создания¹². Вопросы методов сравнения ставились в трудах А. Мейе¹³, проблема синтаксических соответствий получила оригинальное освещение в работе F. Fuchs'a¹⁴. Однако приходится констатировать, что лингвистическая литература пока не располагает исследованиями, содержащими четко разработанные приемы синтаксической реконструкции, демонстрируемые на конкретном языковом материале.

По вопросу о возможностях применения сравнительно-исторического метода в области синтаксиса современными компаративистами высказываются разноречивые суждения. Наряду с мнением, что проблема реконструкции синтаксиса группы близкородственных языков является одной из очередных задач языкознания¹⁵, существует и точка зрения, согласно которой сравнительно-исторический метод мало применим в области синтаксиса¹⁶.

Нельзя отрицать того, что реконструкция синтаксических единиц связана со значительными трудностями. Морфологические единицы (корень, аффиксы и т. п.) допускают возможность реконструкции цельной морфологической единицы. Ср., например, тадж. *нав* 'новый', англ.

new, нем. *neu*, греч. *νέος* и русск. *новый* могут быть возведены к цельному архетипу *nevos*.

Синтаксические единицы (словосочетания и предложения) почти как правило многосоставны и необычайно мобильны. Хотя здесь и осуществима реконструкция отдельных моделей словосочетаний простого предложения, однако возможности этого довольно ограничены.

При осуществлении синтаксической реконструкции следует учитывать целый ряд общих методологических приемов исследования, а также частные приемы восстановления конкретного архетипа.

¹⁰ См.: Э. А. Макаев. Вопросы синтаксиса индоевропейских языков. — Уч. зап. 1-го МГПИЯ, вып. VII, 1955. (В статье выдвигается положение о необходимости установления синтаксических архетипов).

¹¹ В. Н. Ярцева. Проблемы реконструкции синтаксиса группы близкородственных языков. — «Материалы первой научной сессии по вопросам германского языкознания». М., 1959.

¹² Сравнительно-исторический синтаксис восточнославянских языков. Типы простого предложения. М., 1968.

¹³ А. Мейе. Сравнительный метод в историческом языкознании. М., 1954; его же. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.—Л., 1938.

¹⁴ F. Fuchs. Rolle der Syntax in der Frage nach sprachverwandschaft mit besonderer rücksicht auf das problem der ural-altaischen sprachverwandschaft. Wiesbaden, 1962.

¹⁵ Ср. вышеназванные работы Э. А. Макаева, В. Н. Ярцевой. См. также: Я. Бауэр. Проблема реконструкции праславянского сложного предложения. — Slovník praeř filosofické fakulty. Brněnské University, VII, Rady jazykovedne, 6, 1958.

¹⁶ Ср. С. Б. Бернштейн. Основные задачи, методы и принципы сравнительной грамматики славянских языков. — «Вопросы языкознания», 1954, № 2 и др.

Известные приемы изучения истории синтаксической структуры, такие, как обращение к памятникам и существующим историческим грамматикам на материале тюркских языков часто себя не оправдывают. Синтаксические конструкции памятников конкретного языка иногда могут служить основанием для высказывания суждений о древней структуре этого языка. Многие тюркские памятники содержат элементы нескольких тюркских языков. Для ряда тюркских языков либо не очерчен точно круг памятников, либо же установление преемственности между памятниками и современным языком осложнено (ср. тюрки и татарский, чагатайский и узбекский языки и пр.). Использование памятника целесообразно в тех случаях, когда между языком памятника и современным языком имеется историческая преемственность, заключающаяся в том, что язык памятника и современный язык сложились в результате развития единой языковой единицы (ср. староазербайджанские памятники и современный азербайджанский язык).

Для воссоздания исторической перспективы в развитии синтаксических единиц очень важно установить некоторые общие принципы понимания синтаксических явлений.

Выдвинутые впервые в истории языкознания А. А. Потебней принцип структурной сплоченности и соотносительности всех элементов языка и принцип системности синтаксиса немало способствовали возникновению нового подхода к историческому изучению синтаксиса¹⁷.

Излишне особо останавливаться на том, насколько важен принцип структурной взаимосвязанности всех основных грамматических категорий — слова, части речи, члена предложения и предложения.

Не давая теоретического обоснования этому важному принципу структурной сплоченности и соотносительности всех элементов языка, представители классической тюркологии Ж. Дени, К. Грэнбек, К. Брокельман в своей исследовательской практике обычно им руководствовались, когда, обращаясь к прошлому, анализировали этапы исторического движения синтаксической структуры (ср. теорию именных групп и др.)¹⁸.

Четкая структурная сплоченность всех элементов языка, взаимозависимость всех его уровней особенно ярко проявляется в тюркских языках.

Основные особенности синтаксической структуры тюркских языков, отличающиеся большой устойчивостью, могут быть объяснены и поддерживаются морфологической структурой строя. Для морфологического типа тюркских языков, который принято называть агглютинативным, характерен такой аффиксальный статус языка, который исключает возможность префиксов. Стандартная организация морфологической структуры слова является основой действующего закона — *определение + определяемое*. Порядок размещения слов и словообразовательных аффиксов происходит в плане коллокации, причем фактор нарастания абстрактности воздействует на словообразовательные элементы и сложение слов. Закон *определение + определяемое* поддерживается правилом *конкретное + общее* (ср. турецк. *demircilik* 'кузнечное дело', где афф. -*ci* конкретнее афф. -*lik*). В словосочетании *jaxşu guz — jaxşu* является частной характеристикой к определяемому как к более общему понятию. Место глагола также мотивировано его способностью выражать более широкие понятия. Таким образом, для строя тюркских языков характерен последовательно выдержанный изоморфизм. Синтаксическая струк-

¹⁷ А. А. Потебня. Указ. раб.

¹⁸ См.: К. Grönbech. Указ. раб.

тура тюркских языков, объяснимая особенностями морфологической структуры слова, сама поддерживает устойчивость агглютинативного строя (ср. развитие притяжательных аффиксов, возникновение изафета и др.).

Отсюда следует, что при изучении истории синтаксических конструкций важное, определяющее значение приобретают типологические особенности семьи родственных языков — те ведущие структурные особенности тюркских языков, которые дают возможность объединить их в одну семью.

Синтаксическая структура тюркских языков во многом может быть объяснена особенностями агглютинативного строя, который достиг в этих языках почти полной абсолютизации.

Одно из типологических свойств агглютинативного строя — порядок размещения определения и определяемого — объясняет возникновение многих синтаксических категорий. Ср. изафетные сочетания, объектные конструкции с винительным падежом, где спаянное словосочетание расчленяется в связи с развитием категории определенности — неопределенности.

Типологические свойства семьи родственных тюркских языков предопределили и пути развития в них сложного предложения. Раннее состояние тюркских языков характеризовалось господством простого предложения, реликты этого сохраняются и в современных тюркских языках. В рамках двух примыкающих предложений могут быть выражены не только сочинительные, но и подчинительные отношения. Однако уже в этом способе связи предложений заключалось известное противоречие. Подчинительные связи выражались преимущественно логически, располагая для этого скудными средствами грамматического выражения (аффиксы принадлежности, соотносительное употребление временных форм и т. д.). Проявлением естественной тенденции к грамматическому усовершенствованию явился в тюркских языках так называемый способ трансформации, т. е. определенного преобразования одного предложения для выражения его подчинительного отношения к другому¹⁹. Процесс же трансформации опирался на действующие типологические тенденции в структуре тюркских языков. Первая тенденция связана с действием закона расположения, обусловившего стремление создать из двух примыкающих предложений подобие одного. Вторая тенденция — стремление сократить одно сказуемое — *verbum finitum* в условиях смыслового подчинения при двух самостоятельных подлежащих. И если в индоевропейских языках средства подчинения сохраняли самостоятельность обоих предложений, то структура тюркских языков предопределила превращение грамматически самостоятельных предложений в несамостоятельные. Таким образом, одним из характерных для строя тюркских языков путей развития сложноподчиненных предложений было их развитие не изнутри, а посредством сложения двух ранее самостоятельных предложений.

Второй путь развития сложного предложения союзным способом также может быть объяснен типологическими особенностями структуры тюркских языков. Способ примыкания поддерживался системой частиц, хронологически относившихся к довольно раннему периоду тюркской общности. Основания для развития союзного способа подчинения были заложены в самой структуре тюркских языков, импульсом для которого

¹⁹ Имеются в виду синтаксические конструкции (зависимые трансформы) типа азерб.

Ауаз synanda, budag nājā g'ārāk'? 'Когда дерево ломается, к чему нужны ветки?' или турецк. *Kir düştüğü bir sakal* 'Борода, в которой появилась седина' и др.

послужила разветвленная система разного рода частиц (ср. развитие союзной функции на базе усилительно-выделительной функции у частиц *da, ki, dagy, ja* и др.). Союзный способ выражения подчинительных отношений явился результатом стремления преодолеть недостаточность одного способа трансформации. В развитии синтаксической структуры тюркских языков имеются факты, когда оба пути развития подчинительных отношений, а именно трансформация и союзный способ скрещиваются, давая разнообразные смешанные типы построений. Гибридизация как своеобразный третий путь развития подчинительных отношений в целом ряде случаев служит усовершенствованию синтаксической связи.

Типологические особенности семьи родственных языков облегчают воссоздание истории конкретных синтаксических единиц. Сохранившиеся в современных тюркских языках и их памятниках случаи употребления первого типа изафета вместо второго и третьего также находят объяснение в типологических свойствах тюркских языков. Процесс адъективизации в условиях двух примыкающих существительных сделал излишним употребление показателя принадлежности, соотнесенности предметов. Ср. сильно адъективизированные сочетания имен типа кирг. *düŋ žerler* 'целинные земли', ногайск. *tavuk ferma* 'птичья ферма'.

Сравнительный анализ современных тюркских языков и их ранних памятников говорит в пользу существования модели простого предложения с глаголом-связкой настоящего времени. Прежде всего об этом свидетельствует самый факт наличия у глагола-связки развитой парадигмы прошедшего времени, а также сохранившиеся формы недостаточного глагола *ä-, äŋr-*. Но наряду с этим имеются и другие аргументы в пользу существования связки настоящего времени. С точкой зрения типологической структуры тюркских языков между предикативным именным словосочетанием и сочетанием непредикативным наблюдается известная омонимия, приводящая к грамматической двусмысленности. Ср. казах. *a) žaŋyŋ* 'лунное освещение' и 'луна — освещение'. В результате действия закона отталкивания от омонимии возникла необходимость в грамматическом выражении предикативности. Ср. азерб. *rus mašinistdir* 'русский — машинист'.

Использование личных местоимений в качестве показателя сказуемости довольно древний прием. Он поддерживался типологической структурой тюркских языков. Ранние по своему происхождению аффиксы принадлежности не могли полностью заменить личные местоимения в качестве показателей предикативности, так как это опять-таки привело бы к грамматической двусмысленности. Ср. кирг. *kyzmatčynyŋzdar* 'ваши служащие', но *siz kyzmatčysyz* 'вы служащий'.

При сравнительно-историческом анализе синтаксиса родственных языков важно учитывать и те особенности синтаксической структуры, которые возникают совершенно самостоятельно в языках различного типологического строя. Так, например, использование вопросительных местоимений для союзной связи усвоено многими народами совершенно самостоятельно. В языках различного типологического строя происходит развитие союзов на базе частиц, имеет место разрушение связок под влиянием семантически однородных явлений и т. д. Все это общие типологические линии развития.

Сравнительно-исторический метод должен учитывать не только типологические особенности анализируемой семьи родственных языков, но и приемы ареальной лингвистики. Стремление придать методам ареальной лингвистики диахроническую направленность впервые отмечается у представителей итальянской неолингвистической школы²⁰.

²⁰ Ср. М. Bartoli. *Introduzione alla neolinguitica*. Geneve, 1925.

Критерии построения индоевропейской ареальной лингвистики, которая помогает установить и определить инновации и архаизмы в отдельных группах индоевропейских языков на основе наложения ареальных и общеиндоевропейских моделей, четко изложены в книге Э. А. Макаева «Проблемы индоевропейской ареальной лингвистики»²¹.

Еще представители младограмматической школы: К. Бругман, Герман Пауль и другие указывали, что для получения правильного представления о развитии языка необходимо дополнить праязыковую схему данными современного состояния.

Показательно замечание А. Доза²², который называет лингвистическую географию геологией языка, поскольку она позволяет установить так называемую стратиграфию слов, форм, конструкций.

Действительно, изучение ареальных особенностей форм, конструкций позволяет обнаружить некогда существовавшие пути колонизации. Ср., например, неравномерное распределение арабизмов по отдельным тюркским диалектам, свидетельствующее о прямом и опосредствованном проникновении в них арабского языка. Неоспорима заслуга неолингвистов, заключающаяся в попытках с помощью приемов лингвистической географии установить хронологические отношения между языковыми фактами, определить центры радиации и причины инноваций. Сущность основного приема состоит в том, что сначала определяется пространственное расположение инноваций, а затем производится проверка сделанного предположения по письменным источникам. Новое в эту методику внес А. Мейе, предложивший разграничить инновации, характерные для ряда языков, и факты параллельного, но независимого развития в каждом отдельном языке²³. Однако многие лингвисты, пользующиеся методами ареальной лингвистики — Бартоли, Мейе и другие, стремятся вывести закон, согласно которому всякий факт, расположенный в центре территории, является относительным новшеством, а факты, расположенные по окраинам, следует рассматривать как реликты. В. Пизани особо подчеркивает необходимость осторожного применения ареальных норм в тех случаях, когда языковые факты относятся к древним эпохам, о характере которых не сохранилось документальных данных. Две одновременные фазы могут представлять и архаизмы и инновации²⁴.

Методы выявления архаизмов и инноваций требуют помимо приемов ареальной лингвистики сочетания и других приемов. Должна существовать целая серия подсобных критериев выявления архаизмов и инноваций. Следует учитывать не только памятники, но и типологические особенности, представленность формы или конструкции в родственных языках, ареал распространенности. Разнобой в отражении формы, конструкции в родственных языках свидетельствует о более поздних образованиях (ср. оформление порядковых числительных в тюркских языках). Если одно языковое явление развивается, а другое отходит на задний план, то первое из них чаще всего — более позднее (ср. соотношения форм *asy* и *азэг* в памятниках азербайджанского языка и т. д.).

Примером необходимости применения в сравнительно-исторической грамматике комплекса различных методов может служить осуществление синтаксической реконструкции, состоящей из ряда следующих этапов.

²¹ М.—Л., 1964.

²² А. Dauzat. La géographie linguistique. Paris, 1922.

²³ См.: А. Meillet. Les dialectes indo-européens. Paris, 1922.

²⁴ См.: В. Pisani. Le lingue indoeuropee. Milano, 1964.

Определение семантического типа, конкретной структурной модели, реконструкция морфологического опорного элемента.

После определения конкретной структурной модели, характеризующейся определенной морфологической опорой, выявляется степень распространенности ее в родственных языках, которая может быть как тотальной, так и ареальной (ср. общетюркские конструкции с *-r*, *-yb* и ареально ограниченные *-asy* и др.).

Степень распространенности той или иной конструкции может быть неодинаковой на различных этапах ее исторического развития, в связи с развитием синонимичных конструкций и пр. Так, например, в кыпчакских языках у конструкции с *-gan* не оказалось достаточных конкурентов, которые могли бы сократить сферу ее распространения. В огузских же языках у конструкции с *-an* были довольно сильные конкуренты. Ее значительно потеснила конструкция с *-dyk*, особенно в турецком языке. Весьма вероятно, что отглагольные имена на *-gan* и *-an* в глубокой древности существовали и в чувашском языке, о чем свидетельствуют сохранившиеся реликты в виде слов *s'elen* 'змея' и *хуткап* 'выносливый'. Отглагольное имя на *-gan* в его разновидности *-agan* закрепилось в чувашском языке в причастии настоящего времени, ср. *ругакап* 'идуший'²⁵. Отглагольное имя с аффиксом *-an* существовало и в якутском языке. Его реликтом по всей видимости является современное якутское деепричастие на *-an*, ср. *k'ögön ologobun* 'смотря, сижу'. Однако в якутском языке, как и в языках огузской группы, получили распространение конструкции с *-byt* (*-myš*).

Вместе с тем тотальная распространенность не всегда является наиболее веским критерием для суждения о наличии данной модели в общетюркском праязыковом состоянии. Так, например, глагольные словосочетания с именем в исходном падеже имеют значительный ареал распространения в современных тюркских языках, но их нельзя отнести к пратюркской общности, поскольку в глубокой древности не был развит исходный падеж на *-dan*. В современных тюркских языках значительно распространен 3-й тип изафета, который нельзя отнести к раннему общетюркскому состоянию, поскольку его возникновение, связанное с развитием родительного падежа, относится к более позднему периоду пратюркской общности.

При изучении истории синтаксических единиц в группе родственных языков реконструкция синтаксической единицы должна обязательно сопровождаться морфологической реконструкцией. Это диктуется прежде всего тем, что простая проекция наиболее распространенной модели в праязыковую общность часто не в состоянии вскрыть более давнюю историю данной синтаксической единицы. Необходимо это также для осуществления синтаксической реконструкции и из-за отсутствия письменных памятников, относящихся к периоду пратюркской общности. Если бы таковые памятники существовали, то вся процедура исследования синтаксических единиц свелась бы к простой констатации того, что было и что стало, как это обычно делается при изучении исторического синтаксиса одного языка. Однако дошедшие до нас памятники древнетюркской письменности возникли значительно позже. Они нередко содержат инновации, и, кроме того, язык памятника не всегда является непосредственным предком того или иного современного живого тюркского язы-

²⁵ Древнетюркское отглагольное имя на *-n* отразилось в причастии прошедшего времени на *-na*, *-ne*, которое в чувашском языке широко употреблялось как отпричастное имя.

ка. Таким образом, исследование истории морфологического элемента является определяющим при изучении истории развития синтаксических конструкций. Без этого условия мы не в состоянии воссоздать динамику развития синтаксической единицы, поскольку ее семантический тип сам по себе не позволяет воссоздать какое-либо историческое движение. Поясним вышеохарактеризованную методику на конкретных примерах.

В тюркских языках существуют определительные словосочетания с относительными прилагательными на -k, -g, например: азерб. *boğug səs* 'сиплый голос', казах. *tūnyk' su* 'прозрачная вода', турецк. *ışlek yol* 'оживленная дорога', узб. *ođik' kitob* 'открытая книга' и т. д.

Широкое распространение формантов -k/-g в самых различных тюркских языках позволяет предполагать наличие их в раннюю тюркскую эпоху. Однако с течением времени словосочетания претерпевали различные изменения. Первоначально, по-видимому, эти словосочетания принадлежали к типу *причастие на -k+существительное*. Довольно рано причастие на -k начинает выходить из употребления, частично семантически перерождаясь либо в прилагательные, либо в существительные. В настоящее время тип словосочетаний *относительное прилагательное на -k/-g+имя существительное* является менее продуктивным, как менее продуктивен и сам морфологический формант -k/-g.

Другой тип определительных словосочетаний — *причастие на -kan/-gan+имя существительное*. Ср. алт. *karıgan kızı* 'старый человек', тат. *ütkan el* 'прошедший год', тур. *dövüşken horoz* 'драчливый петух' и т. д. Можно предполагать, что аффикс причастия -kan/-gan представляет результат контаминации двух причастных аффиксов -k и -an. Следовательно, определительное словосочетание, состоящее из причастия на -kan/-gan+имя существительное, некогда было словосочетанием типа *причастие на -k/-g+существительное*. Еще в общетюркскую эпоху произошла контаминация аффикса -k/-g с причастным аффиксом -an. Есть доказательства тому, что причастие на -kan/-gan первоначально было распространено во всех тюркских языках, хотя, по-видимому, не имело достаточной семантической определенности. Позднее оно исчезло в языках огузской группы.

При осуществлении синтаксической реконструкции данные исторической морфологии необходимы как вспомогательное средство, помогающее проникнуть в более глубокую историю конкретной синтаксической модели. Ср., например, глагольные словосочетания с именем+форматив -са, который в процессе своего исторического развития претерпел процесс морфологического перерождения, что привело к видоизменению и самой модели. Падеж на -са, широко распространенный в общетюркскую эпоху, первоначально имел направительное значение, которое в настоящее время сохранилось в чистом виде только в тувинском и отчасти хакасском языках (ср. хакасск. *k'ögisçe* 'по грудь'). Позднее на базе направительного во всех тюркских языках развилось сравнительное значение, поскольку направление могло быть переосмыслено как сходство, согласие, например: *türkçe* первоначально: 'по направлению к турку' > 'согласно турку' > 'как турок' или 'по-турецки', 'на турецкий лад'. Таким образом, глагольные словосочетания с зависимым членом, оформленным падежом на -са, в большинстве современных тюркских языков дали другой тип словосочетаний — глагол с зависимым наречием на -са (ср. турецк. *türkçe söyüyor* 'говорит по-турецки'). Хронологически раньше была распространена модель глагольного словосочетания с именем+падеж на -са (ср. тувинск. *ol duñmazunče körgen* 'он смотрел на своего младшего брата' (Тув. 647); ср. еще раннюю модель глагольного словосочетания с именем+падеж -са (пролативное значе-

ние): уйгурск. пам. Христианск. сод. XIII в. Antyn öñi jolča jorutdy ol тоуоѣ-јагуу (136) 'Он проводил этих магов, проведя их другой дорогой' (Мал. Пам. 137).

Сравнительно-исторический анализ модели простого предложения со сказуемым — *verbum finitum* -азаг^v показывает ее зональную ограниченность (ср. азерб. о Moskvaја gäläzäk' 'Он [обязательно] приедет в Москву'). Обращение к данным исторической морфологии помогает установить, что данная конкретная модель хронологически относительно позднее явление; поскольку афф. -(а)заг^v был присущ образованиям типа азерб. utanзаг guz 'стеснительная девушка', казах. žaŋsak söz 'ошибочное слово' и др. От качества формы зависит качество синтаксической единицы. Поскольку афф. -(а)заг^v был присущ отглагольным прилагательным и обозначал склонность к чему-либо, то на этой основе развилось позже причастное значение, которое легло в основу временного образования. Можно думать, что значение будущего времени с модальным оттенком обязательности совершения действия (будущее категорическое) развилось позднее, так как для аспекта настоящего, настояще-будущего времени в языке уже имелись формативы (ср. -г), и наличие в языке формы аналогичного значения было нецелесообразно. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что атрибутивная модель *прилагательное, причастие* -(а)заг^v+*существительное* хронологически существовало раньше модели простого предложения с *verbum finitum* -азаг.

Конкретные реконструкции убеждают в необходимости совокупного использования различных данных. Так, например, при установлении относительной хронологии возникновения зависимых конструкций (трансформ) с -gap, -dyk, -myš²⁶ необходимо учитывать следующее:

1. Выяснение степени распространенности этих конструкций показывает, что они имеют зональные ограничения: -gap характеризует кыпчакский ареал, -ap — огузский, в котором, кстати, она представлена неравномерно.

2. Сравнительный метод может установить историческую стратиграфию зависимых конструкций — трансформ и формирующих их членов, т. е. выявить историческую неодновременность их оформления. Так, например, более ранними по времени образования являются зависимые конструкции с -gap. В огузской группе тюркских языков конструкции с -gap вытеснялись конструкциями с -dyk, которые впоследствии сами были оттеснены под давлением конструкций с причастным образованием на -myš.

3. При воссоздании истории возникновения зависимых трансформ следует учитывать материал конкретных исторических памятников. Однако, как показывают наблюдения, памятники не дают единообразного материала в отношении зависимых трансформ, поскольку сам язык памятников не однороден, отражает особенности диалектов, существо-

²⁶ Имеются в виду образования типа: кирг. Биз сүргөн өмүрдүн ачуусу көп (Сыдыкбеков, 6) 'В прожитой нами жизни много горечи'; тур. Tren geldikte biz onu gördük 'Когда пришел поезд, мы увидели его'; азерб. Бајрам илан вурмуш адамлар кими јеринден сычрады (Н. Мехди, Сәһәр, 81) 'Байрам, как человек ужаленный змеей, вскочил с места'.

вавших уже в эпоху появления этих памятников. Так, например, в ранних тюркских памятниках рунического письма зависимые трансформы на -*gaп* не встречаются. Эта синтаксическая модель характерна преимущественно для памятников уйгурского письма и с меньшей степенью продуктивности — памятников арабского письма. Зависимые трансформы с формирующим членом -*ap* и его производными для ранних тюркских памятников не характерны. Зависимые трансформы с формирующим членом -*dyк*, напротив, встречаются преимущественно в рунических памятниках древнетюркской письменности (памятники в честь Кюль-Тегина, Тоньюкука и др.) и с меньшей долей продуктивности в памятниках арабского письма (ср. «Кутадгу билиг»), уйгурского письма («Золотой блеск» и др.). Ареал распространения в памятниках зависимых трансформ с формирующим членом -*tuş* примерно тот же, что и зависимых трансформ с -*dyг*; а именно — рунические памятники древнетюркской письменности (ср. памятник в честь Кюль-Тегина), памятники арабского письма («Кутадгу билиг»), памятники уйгурского письма («Золотой блеск» и др.). Зависимые трансформы с -*tuş* встречаются в хорезмийских памятниках XIV века.

4. При изучении истории образования зависимых трансформ учитываются особенности строя агглютинативных языков — стремление к созданию распространенного простого предложения. Следует также иметь в виду, что зависимые трансформы особенное развитие получают в письменной речи.

5. Используются также некоторые данные, касающиеся общих типологических особенностей синтаксического строя языков мира в древнюю эпоху (ср. господство простого предложения).

Нам представляется, что только осуществление синтаксической реконструкции, опирающейся на данные исторической морфологии, дает возможность правильно наметить тенденции развития синтаксической структуры.

Синтаксическая реконструкция устанавливает существование модели определительных и глагольных словосочетаний в пратюркской общности. Из определительных словосочетаний продуктивно развиваются такие типы, как: *числительное+существительное, местоимение+существительное*, — то есть модели, не имеющие в своем конкретном выражении формальных показателей. Что касается конкретных моделей, представляющих собой *зависимый член с формальным показателем+существительное*, то они получают неравномерное развитие как в хронологическом отношении, так и по отдельным тюркским языкам. Значительную продуктивность получают словосочетания типа *прилагательное с aff. -ly+имя существительное*. Целый ряд конкретных моделей определительных словосочетаний со временем суживали круг своего употребления или становились непродуктивными (ср. определительные словосочетания с причастием на -*dyк*, не получившие распространения в кыпчакских языках, или же определительные словосочетания с причастием -*asy*, -*г* и др., сокращающие исторически свою употребительность); известное число определительных словосочетаний, зарегистрированных в ранних тюркских памятниках, не получили развития в современных тюркских языках (например, определительные словосочетания с зависимым членом — причастием -*taşu* и др.).

В процессе развития модели определительных словосочетаний могли расширяться синтаксические условия ее употребления. Так, например, расширение семантики второго типа изафета идет от наиболее архаичного значения принадлежности к значению родовой категориальности, а затем приближается к средству простой связи.

Синтаксическая реконструкция дает возможность, опираясь на данные исторической морфологии, установить тенденции и — конкретнее — определенную хронологию в развитии отдельных моделей глагольных словосочетаний. К довольно раннему периоду пратюркской общности можно отнести модель глагольных словосочетаний с зависимым именем в инструктиве на -(у)п, которая не дошла до наших дней, сохранившись в отдельных реликтовых образованиях. Исчезновению этой конструкции способствовало развитие грамматических аналогов (ср. послеложные конструкции с *bile*, *menep* и пр., а в чувашском языке — творительный на -ра). Глагольные же словосочетания с зависимым именем в исходном падеже можно отнести к сравнительно позднему периоду пратюркской общности. В более раннюю общетюркскую эпоху очевидно существовала модель глагольных словосочетаний с зависимым именем в исходном падеже на -дуп, который впоследствии мог быть вытеснен формой на -дан.

Исследование конкретных моделей простого предложения позволяет наметить относительную хронологию в развитии отдельных видов именного и глагольного предложения.

Гипотетически допускается существование в пратюркскую эпоху модели простого именного предложения со связкой настоящего времени (со своей полной парадигмой). С течением времени связка настоящего времени вытеснялась развивающимися грамматическими аналогами, разрушаясь под влиянием семантически однородных явлений. Со временем в тюркских языках возникает значительный разнобой в способах выражения связки настоящего времени (модель именного сказуемого с личными местоимениями, наличие связки -*tur*/*turur*, обобщение формы 3-го лица с использованием ее во всех лицах, использование для выражения предикативности имен *kiži* 'человек' и *siŋe* 'вещь', 'предмет' и др.).

Сравнительно-исторический анализ глагольного предложения в ретроспективном плане устанавливает, что все возможные исторические изменения были связаны прежде всего с ведущим членом — глагольным сказуемым. Хронологически наиболее ранний период тюркской общности характеризовался относительно ограниченным числом общих форм (-*du*, -*g*, форма повелительного наклонения, с ее большим гнездом форм: -*a*, -*aj*, -*gaŋ*). Позднее, вероятно, возникла форма -*gaŋ*, закрепившаяся за большим кыпчакским ареалом, форма -*muŝ* — за огузским ареалом и т. д. После распада пратюркской общности, в период самостоятельной жизни отдельных тюркских языков развились временные формы, охватывающие большие или меньшие ареалы распространения.

Применение сравнительно-исторического метода в синтаксисе тюркских языков опирается на такие общеизвестные факторы, как возможность существования однотипных конструкций, происшедших из одного источника, с одной стороны, и неравномерность развития различных тюркских языков — с другой. Последний фактор особенно важен для сравнительно-исторических исследований уже потому, что основной объект таких исследований — это прежде всего те звенья синтаксической системы, обнаруживающие известную подвижность в своем развитии (ср., например, область сказуемого в структуре простого предложения). Наблюдающиеся здесь исторические изменения происходят за счет развивающихся глагольных времен и связочных средств. Реконструкция глагола-связки настоящего времени облегчается сохранением следов в отдельных тюркских языках и их памятниках (ср. полную парадигму спряжения этой связки в чагатайском, сохранение отрицательной формы аориста от корня *ä-* — *ämtäs* в кыпчакских языках и пр.).

Таким образом, при построении сравнительно-исторического синтаксиса как одного из разделов сравнительной грамматики тюркских языков исследователь должен использовать все известные современному языкознанию методы: традиционный сравнительно-исторический, опирающийся как на материал памятников, так и на материал живых языков, приемы ареальной лингвистики, учет типологических особенностей семьи родственных языков, а также частные приемы синтаксической реконструкции.

Г. Ф. БЛАГОВА

К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МЕСТОИМЕННОГО И ИМЕННОГО ПАДЕЖНЫХ СКЛОНЕНИЙ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Отечественное языкознание, начиная с В. В. Радлова, уделяет известное внимание изучению существующих в тюркских языках различий между местоименной, посессивной и именной падежными парадигмами¹. Во многих иносистемных языках местоименное падежное склонение отличается от именного своеобразием парадигматического моделирования².

В современных тюркских языках соотношения между местоименными, посессивными и именными типами склонения не остаются неизменными (видимо, исторически они также изменялись). Можно указать, например, на выравнивание парадигм именного и посессивного склонений в кумыкском языке³, в ряде говоров киргизского языка⁴, в северных диалектах алтайского языка⁵, на унификацию способов оформления имен и местоимений творительного падежа в хакасском языке⁶. Наблюдаемые в современных тюркских языках процессы выравнивания разных типов падежных парадигм, безусловно, уходящие корнями в глубь веков, не могут не заслонять собой специфику местоименного, посессивного и именного склонений. В результате в грамматических описаниях часто наблюдается неразличение этих трех типов склонения, и как следствие возникает неясная и неточная картина соотношения изучаемых форм.

¹ Э. В. Севортян. Категория падежа. — ИСГТЯ, ч. 2. М., 1956, стр. 46; Ф. Г. Исхаков. Местоимения. — Там же.

² «Сравнительная грамматика германских языков», т. III. Морфология. М., 1963, стр. 333 и сл.; К. Е. Майтинская. Местоимения в мордовских и марийских языках. М., 1964, стр. 51 и сл.; Б. А. Серебренников. Историческая морфология пермских языков. М., 1963, стр. 191 и сл.; его же. Историческая морфология мордовских языков. М., 1967, стр. 84—86 и сл.; «Грамматика современного удмуртского языка». Ижевск, 1962, стр. 168—169 и сл.

³ Ю. П. Долинина. Падежи в современном кумыкском языке. Автореф. канд. дисс. М., 1954, стр. 4 и сл. Здесь произошла реинтерпретация формы вин. падежа с аффиксом принадлежности 3-го лица, выравненной по образцу именной парадигмы: за формами типа апасуну, апалагуну закрепились функции род. падежа ('матери, матерей'), в то время как только формы апасун, апалагун сохранили значение вин. падежа.

⁴ М. Туряджанова. Тулейкенский говор киргизского языка. Автореф. канд. дисс. Фрунзе, 1954, стр. 13; Ж. Мукамбаев. Джерге-тальский говор киргизского языка. Автореф. канд. дисс. Фрунзе, 1955, стр. 5; Н. Бейшекеев. Киргизские говоры за пределами Киргизии. Автореф. канд. дисс. Фрунзе, 1965, стр. 19.

⁵ Н. А. Баскаков. Диалект черневых татар (туба-кижи). М., 1966, стр. 69.

⁶ Г. Донидзе. Формы и значения творительного падежа в хакасском литературном языке. — «Вопросы хакасского языка и литературы». Абакан, 1955, стр. 147. Ср., однако, сохранение разных способов оформления этого падежа в хакасских диалектах: М. И. Боргояков. Винительный падеж на -н в хакасском языке. — «Вопросы хакасской филологии». Абакан, 1962, стр. 74.

Так, судя по приводимым примерам, особенности падежного оформления в памятниках староазербайджанской литературы затрагивают в основном лишь местоименное и посессивное склонения (-ga, -ka в дат. падеже, -pi в вин. падеже), распространяясь на именную падежную парадигму лишь в случаях фонетического аналогизирования, ср. *köz-üt-pi* и *alām-pi*⁷. Обо всем этом, однако, приходится только догадываться, между тем как раздельное рассмотрение трех типов склонения позволило бы совершенно четко выделить специфику каждого из них.

Даже в проекте «Вопросника «Диалектологического атласа тюркских языков СССР» (М., 1969) раздел «Склонение» (составитель Г. И. Дони-дзе) фактически сведен к «Склонению имен» (стр. 27—28), причем о посессивном склонении не упомянуто вовсе, хотя различия именно в этом типе склонения могли бы быть весьма показательными для лингвогеографии.

Автономность местоименного, посессивного и именного склонений в тюркских языках исторически проявлялась гораздо ярче, нежели теперь. С этой точки зрения заслуживает специального исследования язык «Кутадгу билиг» — памятника, донесшего до нас исторически уникальное состояние падежной системы⁸.

Различия между изучаемыми типами падежного склонения в целом ряде случаев нуждаются в объяснениях как фонетического, так и собственно морфологического характера. Ниже мы намеренно остановимся только на различиях собственно морфологических — хотя бы уже потому, что фонетическим отличиям в тюркологии обычно уделяется преимущественное внимание, более того — морфологические различия трактуются иногда как фонетические⁹.

Именное склонение в языке «Кутадгу билиг» только в отношении одного падежа обнаруживает необычное для падежной парадигматики состояние, когда один и тот же падеж оформляется двумя различными, разнородными показателями — -(y)γ, -ig и -pi. Это могло произойти в результате смещений и изменений в распределении этих показателей, которые в более древний период (в орхоно-енисейских надписях) были закреплены каждый за определенной частью речи. Как известно, тюрко-монгольский показатель -(y)γ был здесь «единственным аффиксом вин. падежа, выступающим при именах»¹⁰, местоимения оформлялись аффиксом -pi, а в посессивном склонении использовался показатель -n¹¹.

⁷ См.: Х. И. Мирзазаде. Историческая морфология азербайджанского языка. Автореф. докт. дисс. Баку, 1960, стр. 11—12.

⁸ Язык «Кутадгу билиг» изучался в интересующем нас аспекте в двух монографиях — обзорной (У. Асаналиев, К. Аширалиев. «Кутадгу билиг» эстелигинин тилдик өзгөчөлүктөрү. Фрунзе, 1965) и узко специальной (К. Каришов. Категория падежа в языке «Кутадгу билиг». Автореф. канд. дисс. Ташкент, 1962). Однако из-за отсутствия широкого фона сравнительно-исторических и сопоставительно-типологических данных специфике описываемых ценных языковых фактов здесь не придается должного значения, и она теряется в общем изложении; в работе нет даже попытки установить действительное соотношение форм внутри категории падежного склонения в языке изучаемого памятника. Между тем при изучении асимметрии именного и местоименного склонений в тюркских языках необходим выход за их пределы, поскольку параллелизм этих двух типов склонения во многих языках мира не наблюдается.

⁹ См.: В. М. Насилов. Язык средневековых тюркских памятников уйгурского письма. — «Вопросы языкознания», 1971, № 1, стр. 106.

¹⁰ W. Radloff. Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, N. F., СПб., 1897, стр. 62.

¹¹ См.: В. М. Насилов. Язык орхоно-енисейских памятников. М., 1960, стр. 25; А. А. Раджабов. Язык орхоно-енисейских памятников древнетюркской письменности. Морфология. Автореф. канд. дисс. Баку, 1967, стр. 9, 13.

В языке «Кутадгу билиг» показатель вин. падежа -*nı* уже проник в именную падежную парадигму¹², значительно потеснив некогда универсальный для имени аффикс -(*y*)*ı*¹³. Тем не менее аффикс -(*y*)*ı* все еще продолжает достаточно широко использоваться при именах, включая, например, и числительные (...*birig yüz kylur*¹⁴ 'единицу он сделает сотней'). Интерес представляет вин. падеж глагольных имен — здесь показатель -(*y*)*ı* встречается очень часто, хотя и не исключительно. Имя действия на -*miş*: *bilmişig* KB I 147 A 54¹²³⁹, 182 A 65¹⁶⁵⁵, 206 B 144¹⁸⁸⁹, *kylmyşy* P 521, *barmyşy* H 196, *samyşlary* KB I 473 A 134⁴⁷¹⁹, *Ögdülmüşig* KB I 182 A 65¹⁶⁵⁵, I 492 C 293⁴⁹³⁴, 496 A 140⁴⁹⁷³, но *kötürmişni* KB I 193 B 136¹⁷⁶². Глагольное имя на -(*y*)*m*: *ölümüg* KB I 155 B 111¹³⁸¹, 483 C 286⁴⁵²⁹. Имя действия на -*ır*: *uçaгы* 'летающего'¹⁵, *ölürüg* KB I 364 C 212³⁶²¹, но *ölürin bilip* KB I 41 B 31²⁵⁸ 'узнав, что он умрет'. Имя действия на -*ıy*: *yumyylary* KB I 482 C 286⁴⁸²⁷. Nomina agentis на -*yıçy*: *kylyç ıryıçy* H 82, *asy* *kylyıçy*¹⁶. Причастие на -*yly*: *kaçylyy jeter ol uçuyluy tutar* KB I 203 B 142¹⁸⁵⁸ 'бегущего он догонит, летящего схватит'¹⁷.

Особенного внимания заслуживает проникновение показателя вин. падежа -(*y*)*ı* в сферу местоименного и — в меньшей мере — посессивного склонения в языке «Кутадгу билиг». Это явление примечательное, так как обычно считают, что аффикс -(*y*)*ı*, -(*i*)*g* не употреблялся ни при местоимениях, ни при посессивных формах имени¹⁸. Следовательно, можно полагать, что здесь представлен гораздо более редкий (на что указал Э. А. Макаев) случай влияния именного склонения на местоименное¹⁹. По всей вероятности, проникновение этого показателя в местоименную, как и в посессивную парадигмы, — довольно поздняя инновация, которая, к тому же, не получила всеобщего распространения. Из личных местоимений только местоимение 3-го лица мн. числа могло присоединять к себе аффикс -*yı* (*olary* KB I 41 B 31²⁵⁹, 437 C 257⁴³⁵⁰, 445 B 319⁴⁴³⁰, 448 C 265⁴⁴⁶¹, 454 B 326⁴⁵²⁶, 483 B 348⁴⁸³⁶, H 122), из указательных местоимений — мн. число *bular* 'эти' (*bulary* KB I 303 B 216²⁹²⁹, 448 C 265⁴⁴⁵⁷, H 206). Тем не менее даже и для этих местоимений множественного числа показатель -*yı* не был единственно возможным — напротив, чаще употребляются параллельные формы с аффиксом -*ny* — *olarny*, *bularny*.

В единственном числе показатель -(*i*)*g* выступает наряду с -(*i*)*n* в посессивной форме 3-го лица ед. числа возвратного местоимения *öz* 'сам': *özüg* и *özün*, *özin*²⁰. Все три варианта показателей вин. падежа — -(*i*)*g*,

¹² О воздействии местоименных падежных форм на парадигматическое моделирование других частей речи, в том числе и имен, см.: «Сравнительная грамматика германских языков», III, стр. 303.

¹³ Подобное же явление для языка XI—XV вв. отметил В. М. Насилов (см. его «Язык средневековых тюркских памятников...», стр. 106).

¹⁴ R. R. Arat. *Kutadgu bilig*, I — Metin. Istanbul, 1947, стр. 466 B 335⁴⁶⁴⁷ (далее сокращенно — KB I).

¹⁵ К. Каримов. Указ. раб., стр. 11.

¹⁶ Там же.

¹⁷ В. М. Насилов («Древнеуйгурский язык». М., 1963, стр. 25, 94) привел примеры имени действия на -*так*, имеющего при себе показатель вин. падежа -(*y*)*ı*: *ilänmäk'ig*, *karystmakuy*.

¹⁸ См.: Э. В. Севортян. Указ. раб., стр. 52; А. А. Раджабов. Указ. раб., стр. 13.

¹⁹ В отдаленных современных тюркских языках и диалектах наблюдается выравнивание формы род. падежа личных местоимений 1-го лица ед. и мн. числа по образцу соответствующей формы именного склонения: вместо *tänim*, *bizim* или рядом с ними появляются *täniñ*, *biziñ* — см.: М. Ш. Ширалиев. Кыпчакские элементы в азербайджанском языке. — «Исследования по грамматике и лексике тюркских языков». Ташкент, 1965, стр. 15 (в кубинском диалекте и закатало-кахском говоре); М. И. Исламов. Нухинский диалект. Автореф. канд. дисс. Баку, 1961, стр. 17; Н. К. Дмитриев. Грамматика кумыкского языка. М.—Л., 1940, стр. 77 (только *biziñ/bizim*).

²⁰ К. Каримов. Указ. раб., стр. 25.

-pi и -n — были найдены нами в склонении производного вопросительного местоимения *pegü*: *pegüg* KB I 393 B 282³⁹⁰¹, *pegüni* KB I 272³⁷⁴⁸, *pegün* KB I 227 C 110²¹⁰⁸.

Проникновение показателя -(y)у, характерного некогда только для именного склонения, в местоименную и отчасти в посессивную парадигмы, а показателя -pi, закрепленного в древности лишь за вин. падежом местоимений, — в парадигму именную и сосуществование этих двух разнородных, но однозначных показателей (а в довольно редких случаях — даже и трех: *pegü-pi*, *pegü-n*, *pegü-g*) было своеобразным проявлением тех сложных процессов, которые происходили в староуйгурском склонении девять столетий тому назад. Процессы эти отчасти, как это видно из изложенного, вызывались действием тенденций к выравниванию всех трех падежных парадигм. В языке «Кутадгу билиг» эта тенденция была двунаправленной (может быть, потому, что все три показателя вин. падежа все еще оставались вполне жизнеспособными): именная парадигма стремилась выравнивать вин. падеж по образцу местоименной (проникновение -pi в именное склонение), а местоименная парадигма, допуская при многих ограничениях проникновение аффикса -(y)у, испытывала тем самым стремление подравняться в том же отношении под именную парадигму.

Однако наряду с тенденциями выравнивания трех типов падежных парадигм, то есть с их своеобразным сближением, в языке «Кутадгу билиг» при развитии склонения значительно сильнее ощущается действие тенденции отталкивания, обособления местоименного склонения от именного.

Тенденции обособления местоименного склонения особенно заметны в способах оформления пространственных падежей и прежде всего — дат.-напр. падежа. Возможно, что активизация этих тенденций именно в области пространственных падежей была вызвана стремлением компенсировать стирание различий в оформлении местоимений и имен в вин. падеже.

Дат.-напр. падеж личных и указательных местоимений в «Кутадгу билиг» представляет собой чрезвычайно пеструю и неупорядоченную картину. Здесь наиболее распространенным и употребительным как для других разрядов местоимений, так и для имен является показатель -gä, -ка (с вариантами). Наряду с обычными формами на -gä используется также показатель -уаг. Однако его употребление — крайне неравномерно в разных разрядах местоимений, для всех трех лиц и обоих чисел. Особенно часто этот показатель формирует дат.-напр. падеж у указательных местоимений и у местоимения 3-го лица только лишь ед. числа. Тем не менее наряду с весьма распространенными формами *aṅgar*, *tuṅgar* обычны и *aṅga*, *tuṅga*. Для местоимений 1-го и 2-го лица ед. числа самые распространенные формы — это обычные *maṅga*, *saṅga*²¹; гораздо реже встречаются *maṅgar* (*maṅgar tegsü emgek aṅgar tegmesün* KB I 498 B 359⁴⁹⁹⁵ 'пусть меня коснутся тяготы, его пусть не коснутся'), *saṅgar* (KB I 317 B 227³⁰⁸⁸)²². Показательно,

²¹ Наличие обширного фактического материала не позволяет согласиться с утверждением К. Каримова, что личные местоимения и указательное *бул* «в отдельных случаях (разрядка наша. — Г. Б.) принимают также аффикс -га» (К. Каримов. «Кутадгу билиг» тилида келишик категорияси. Канд. дисс., Ташкент, 1962, стр. 48).

²² Форма *saṅgar*, употребляющаяся не слишком часто, отсутствует в составленной К. Каримовым сводной таблице «Склонение местоимений» (указ. раб., стр. 25).

что указанные формы с -ga и -gar функционально и семантически тождественны и довольно часто употребляются рядом в одном двустии:

sangar ok syyyndym umynčym sangā
mungađmyš jirimde elig tut marga KB I 20 C 14₂₉.

Для личных местоимений множественного числа форм с аффиксом -gār не отмечено — обычно их формирует аффикс -k'ā, -gā. Весьма редко встречается и зафиксированная только в местоимениях I лица мн. числа усложненная форма дат.-напр. падежа (основа склонения — род. падеж) bizinggā. В. М. Насилов отметил, что в некоторых памятниках древнеуйгурского языка для местоимения 2-го лица мн. числа наряду с sizlāringā характерны также усложненные формы несколько иного состава — sizingār, sizingāri²³.

При склонении имен, оформленных аффиксом принадлежности 1-го лица ед. числа, в языке «Кутадгу билиг» изредка встречается показатель -a. В именном склонении этого разнообразия²⁴ показателей дат.-напр. падежа не наблюдается²⁵.

В местном и исходном падежах наряду с обычными формами, образуемыми присоединением соответственно простых показателей -da и -dyn (с вариантами), достаточно широко представлены усложненные формы единственного числа как для личных местоимений всех трех лиц, так и для указательных и вопросительных местоимений. Таким образом, наряду с mende и mendin имеем meningde и meningdin, рядом с sende и sendin — seningde и seningdin; параллельно с anda и andyn употребляются anyngda и anyngdyn; munda и mundyn встречаются рядом с munyngda и munyngdyn. Во множественном числе усложненная форма отмечена в «Кутадгу билиг» только для местоимения I лица — bizingde KB I 282 A 98₂₆₉₉. Для местоимения 3-го лица мн. числа и мн. числа указательного бул зафиксированы только простые формы местного и исходного падежей: olarda, olardyn, bularda.

Вопросительное местоимение kim (ед. число) наряду с обычными, простыми формами локативных падежей имеет и усложненные kimingde, kimingdin (например: kimingde ukuš bolsa aslu bolur KB I 45 B 34₃₀₁, см. также 218 A 77₂₀₀₆).

В род. падеже показатель -in имеют местоимения первых двух лиц в ед. числе и 1-го лица мн. числа — biziñ (ср., однако, anyñ, sizlärniñ), а также вопросительное местоимение kim (ед. число; например: kimiñ arkasy KB I 187 C 82₁₆₉₉ 'чья спина', kimiñ birlä KB I 187 B 132₁₇₀₂ 'с кем'). Кроме того, род. падеж личных местоимений любого лица и числа, выступая в определительных конструкциях, весьма часто не влечет за собой

²³ В. М. Насилов. Древнеуйгурский язык, стр. 38, 41, 44.

²⁴ Подобное разнообразие показателей дат. падежа имеет типологическую параллель, например в одном из цезских языков (см.: Ш. Г. Гаприндашвили. К генезису формантов дательного падежа в даргинском языке. — «Иберийско-кавказское языковедение», II. Тбилиси, 1948, стр. 227).

²⁵ В контексте «Кутадгу билиг» экзотическими выглядят единичные примеры имен, оформленных аффиксами -га и -уаги: utrukuga H 53 и taruunuağı 136 (К₁. Каримов. Указ. дисс., стр. 71, 73). Можно привести из более раннего источника пример употребления показателя -gārū с причастием на -duk: Bunca isig k'üciğ birtük'gārū sakynmaty 'Таким образом, он не думал отдавать свой труд и силу' (В. М. Насилов. Язык орхон-енисейских памятников, стр. 28).

необходимость посессивного оформления для своего определяемого. Например: *tilağıñ bu ersa tilag jok meniñ* Н 145 'если твое желание таково, то у меня нет желания'; ... *asuy jok anuñ* Н 48²⁶ 'нет пользы от него'²⁷.

Итак, рассмотрение местоименного склонения с учетом его различий и схождений со склонением имен в языке «Кутадгу билиг» позволяет сделать следующий вывод. Местоименное склонение в языке «Кутадгу билиг» проявляет в известной мере тенденцию к выравниванию по образцу именного склонения: в местоименную парадигму из именной проникает показатель вин. падежа -уу; и обратно, в именной парадигме наблюдается закрепление показателя -пі, некогда присущего только местоименному склонению. В то же время здесь в еще большей мере проявляются обособительные тенденции; одни из них представляют собой поздние инновации (усложненные формы склонения), другие же, по-видимому, более старые, основываются на гетерогенности прежде всего личных местоимений ед. и мн. числа и указательных местоимений (а также местоимения 3-го лица). Результатом этого является описанная выше дробность в способах падежного оформления личных и указательных местоимений²⁸ (в том числе и местоимения 3-го лица: например, вин. падеж на -уу встречается только у мн. числа местоимений 3-го лица и указательных местоимений), с одной стороны, и местоимений ед. и мн. числа — с другой. В последнем случае разное падежное оформление, наблюдаемое у личных местоимений ед. и мн. числа (усложненные формы чаще отмечаются у местоимений ед. числа, нежели у местоимений мн. числа; дат.-напр. падеж на -уаг наблюдается у местоимений ед. числа, а у местоимений мн. числа в языке «Кутадгу билиг» он нам не встречался), относится и к местоимению 3-го лица, через которое распространилось и на область указательных местоимений.

Таким образом, значительная вариантность местоименной падежной парадигмы, сосуществование двух разнообразных показателей для одного падежа (винительного) в именной парадигме в языке «Кутадгу билиг» могут быть объяснены собственным состоянием категории падежного склонения в староуйгурском языке XI в. При этом ссылки на «разнодиалектные» вкрапления, обусловленные тем, что письменный язык, на котором написан «Кутадгу билиг», имел многодиалектную основу²⁹, либо оказываются совершенно не обязательными, либо же следует говорить лишь о том, что само состояние местоименного склонения, сложное взаимодействие обособительных тенденций и тенденций к выравниванию давало благодатную почву для таких вкраплений. Заметим, что и в языке более позднего периода — в чагатайском поэтическом языке рубежа

²⁶ Оба примера приводятся по указанной диссертации К. Каримова (стр. 48).

²⁷ В современных тюркских говорах отсутствие посессивного показателя в определяемом, имеющем в качестве определения род. падеж местоимения 1-го и 2-го лица ед. числа (но не 3-го лица ед. числа!), наблюдается не часто. См., например: В. Т. Джанидзе. Дманисский говор казахского диалекта азербайджанского языка. Баку, 1965, стр. 69.

²⁸ Э. А. Макаев полагает, что возможности существования различных вариантов падежных парадигм для личных и указательных местоимений заложены в самой неодинаковости их параметров (три плоскости семантического измерения у указательных местоимений, двухмерность личных местоимений; ср. одномерность имен). О разных парадигмах склонения у германских личных местоимений и указательных (включая сюда и местоимение 3-го лица) см.: «Сравнительная грамматика германских языков», III, стр. 304.

²⁹ К. Каримов. Указ. дисс., стр. 172. Ср. также определение Э. Р. Тенишевым языка «Кутадгу билиг» «как смешанного чигиле-уйгурского» («Вопросы языкознания», 1971, № 1, стр. 154). Указывая, что в восточном ареале уйгурской языковой области «двойного склонения» не было, Э. Р. Тенишев высказал предположение о том, что в местоименном склонении представлена контаминация диалектных черт, свойственных различным уйгурским диалектам.

XV—XVI вв. — местоименное и посессивное склонения оставались наиболее проницаемой областью для таких падежных форм, которые уже были чужды чагатайскому прозаическому языку³⁰: в последнем падежная система в целом более или менее стабилизировалась благодаря аналогическому выравниванию именного и местоименного склонений. Подобные вкрапления в чагатайском литературном языке можно теперь рассматривать не только с точки зрения воздействия огузских языков, но также и в плане влияния древнеуйгурской литературной традиции, не забывая при этом о самой природе местоименного склонения, предрасполагающей к такого рода проникновениям.

Чрезмерная вариантность местоименной падежной парадигмы в языке «Кутадгу билиг» была нерациональной и малоудобной; именно поэтому местоименное склонение было обречено на постепенное изживание этой дробности, а следовательно — и на изживание обособительных тенденций. Таким образом открывался путь тенденциям к выравниванию вариантов местоименных падежных парадигм по единому образцу и далее — к выравниванию местоименной и именной парадигмы.

Интересно выяснить, сохранились ли в современных тюркских языках и диалектах (и в какой мере) черты обособленности местоименного склонения на фоне общего стремления выравнивать все три типа падежных парадигм.

В кахских говорах азербайджанского языка местоимение 1-го лица ед. числа в вин. падеже имеет наряду с формой *mepi* «странную» форму *mengi*³¹. По многим причинам ее трудно было бы связать с тюрко-монгольским вин. падежом на *-(y)γ*; более вероятно иное истолкование этой формы: *mep-[im]-ki > mengi* с последующей функциональной реинтерпретацией *-gi* (*<-ki*); ср. формы вин. падежа для местоимений 1-го и 2-го лица ед. числа в якутском языке — *mijigin*, *ejigin*³².

Любопытнейшая форма род. падежа отмечена в кедабекских говорах азербайджанского языка у местоимений 2-го и 3-го лица ед. и мн. числа: *sānik* (наряду с *sāṇ/sāniṇ*) и *sizik* (рядом с *siziṇ*), *onyk* (*onuṇ*) и *olaryk* (*ollaryṇ/olaryṇ*)³³.

В языках юго-западной группы, в юго-западном диалекте каракалпакского языка, а также в татарском языке (только для 1-го лица ед. числа) род. падеж местоимений 1-го лица ед. и мн. числа формально отличается от соответствующей именной формы³⁴: как и в языке орхон-енисейских надписей, он образуется путем присоединения к местоимению показателя принадлежности 1-го лица ед. числа — *mānim*, *bizim*. Подобное строение генитива имеет свои типологические параллели в языках разных групп. В мордовских языках, например, отмечается совпадение форманта падежа и посессивного показателя в местоименном склоне-

³⁰ См. об этом: Г. Ф. Благова. О характере так называемого «чагатайского» языка конца XV в. — В сб.: «Тюрко-монгольское языкознание и фольклористика». М., 1960, стр. 35—36.

³¹ См.: С. М. Молла-заде. Говоры Кахского района Азерб. ССР. Автореф. канд. дисс. Баку, 1966, стр. 21.

³² Если только не связывать эти последние с монгольским влиянием: ср., к примеру, ойротский форматив род. падежа *-gin*, присоединяющийся к односложным основам с конечными долгими гласными (Г. Д. Санжеев. Сравнительная грамматика монгольских языков, I. М., 1953, стр. 160).

³³ Б. П. Садыхов. Кедабекские говоры азербайджанского языка. Автореф. канд. дисс. Баку, 1964, стр. 18.

³⁴ См.: Э. В. Севортян. Указ. раб., стр. 47; Н. А. Баскаков. Каракалпакский язык, II. М., 1952, стр. 265; «Современный татарский литературный язык». М., 1969, стр. 197.

нии³⁵; аффикс принадлежности *-i-* входит в состав форманта род. падежа *-i-s/-i-š*, использующегося при именах в картвельских языках³⁶.

В отдельных тюркских языках для пространственных падежей местоимений сохранились усложненные формы, в которых показатель пространственного падежа присоединяется непосредственно к местоимению, а к его форме родительного падежа. Однако такой способ падежного оформления имеет существенные ограничения в каждом языке. Так, в современном уйгурском языке в дат.-напр. падеже такое оформление захватывает только местоимение 3-го лица ед. числа (*упуңа*) и указательное местоимение *бу* (параллельно употребляются *типуңа* и *тиңа*)³⁷; в местном и исходном падежах для местоимений 1-го и 2-го лица ед. числа параллельно используются усложненные и обычные формы (*мениңдә* и *мендә*, *мениңдин* и *мендин*, *сениңдә* и *сендә*, *сениңдин* и *сендин*), а для местоимения 3-го лица ед. числа — преимущественно усложненная форма (*упуңда*, *упуңдун*), как и для указательных местоимений (*šупуңда*, *šупуңдун*, *апуңуңда*, *апуңуңдун*); для личных местоимений множественного числа усложненных падежных форм не отмечено³⁸. В чувашском языке, напротив, усложненные формы местного и исходного падежей, образованные на основе формы род. падежа, дают исключительно местоимения 1-го и 2-го лица мн. числа, причем усложненные формы употребляются параллельно с простыми: 1 лицо мн. числа *pirte/pirente*, *pirten/pirenten*, 2 лицо мн. числа *sirte/sirente*, *sirten/sirenten*³⁹. В якутском языке форма вин. падежа личных местоимений служит основой для образования форм исходного, орудного, совместного и сравнительного падежей, особенно явно (без каких-либо фонетических преобразований) прослеживаясь в соответствующих падежных формах местоимений 1-го и 2-го лица ед. числа⁴⁰. В башкирских говорах — кизильском, бурзянском, кубалакском и казмашевском — усложненные формы дат.-напр. падежа для личных местоимений ед. числа и для указательных местоимений ед. числа наблюдаются параллельно с формами, представляющими разные ступени их упрощения: 1-е лицо *mineңä/minegä/miңä*, 2-е лицо *hineңä/hinegä/hiңä*, 3-е лицо *апуңа/апуңа* (*упуңа*)/*ауа* (*ууа*) и указательные *ту-*

³⁵ См.: К. Е. Майтинская. Указ. раб., стр. 49; Б. А. Серебренников. Историческая морфология мордовских языков. М., 1967, стр. 83. Там же (стр. 89) отмечается, что «...в образовании форм косвенных падежей личных местоимений большое участие принимали притяжательные суффиксы...»

³⁶ См.: Г. В. Рогава. Аффикс притяжательности в морфологических категориях глагола и имени в картвельских языках. — «Сообщения АН Груз. ССР», т. III, № 5, 1942, стр. 501.

³⁷ Уйгурскую форму *упуңууса* 'до сих пор' отметил В. М. Насилов (см. его «Аффиксы включения». — В сб.: «Вопросы языка и литературы стран Востока». М., 1958, стр. 33). Э. В. Севортян (указ. раб., стр. 49) приводит для современных уйгурского и узбекского языков усложненную форму дат.-напр. падежа еще и для местоимения 1-го лица мн. числа — *biziñä*.

³⁸ См.: Ф. Г. Исхаков. Указ. раб., стр. 227; Э. Н. Наджип. Современный уйгурский язык. М., 1960, стр. 77, 80.

³⁹ Ф. Г. Исхаков. Указ. раб., стр. 216, 221; «Материалы по грамматике современного чувашского языка», ч. I. Чебоксары, 1957, стр. 127.

⁴⁰ Ср.: Л. Н. Харитонов. Современный якутский язык, ч. I. Якутск, 1947, стр. 157. Точно так же в посессивном склонении аффикс локатива *-ta* в якутском присоединяется к форме род.-вин. падежа на *-ун*, в связи с чем и возникает ассимилированный вариант с *-л*, а именно: *-ун+da>-уппа>-упа* (Э. В. Севортян. Указ. раб., стр. 54). Основа в виде вин. падежа (*адун* 'его лошадь') усматривается также в посессивном склонении в диалектах хакасского языка: дат. падеж *адупа*, местн. падеж *адупда*, напр. падеж *адупзаг* (ср.: Н. Г. Доможиков. О некоторых особенностях сагайского и хнасского (качинского) диалектов. «Зап. Хакасск. НИИЯЛИ», IV, 1956, стр. 70).

пуҗа/мупуҗа/буҗа, šupuҗа/šupuҗа/šuҗа⁴¹. Ср. аналогичную форму только для местоимений 1-го и 2-го лица мн. числа *bizikā, sizikā* в кокандском говоре узбекского языка⁴².

При склонении указательных местоимений ед. числа и местоимения 3-го лица ед. числа в кумыкском языке используется показатель дат.-напр. падежа -уаг: *buуаг, šууаг, šоуаг, оуаг* (при -уа/-гә для прочих местоимений и для имен)⁴³. В якутском показатель -уаг (с вариантами -gäg, -аг, -äg, -ог, -ög) нашел иную сферу применения—посессивное склонение⁴⁴. В татарском языке дательный, исходный и местный падежи местоимения 3-го лица ед. числа «могут образовываться не только от склоняемой основы, но и от более древней формы дат. падежа аҗаг: ср. аҗа, апап, anda и аҗаг+га, аҗаг+дан, аҗаг+да»⁴⁵. Для тех же местоимений ед. числа аналогичная форма дат.-напр. падежа зарегистрирована в одном башкирском говоре: усложненная форма используется там параллельно с обычной — *tegeñärgä/tegeñä* 'тому', *аҗаҗа/аҗа* 'тому, ему', *моҗаҗа/моҗа* 'этому'⁴⁶. В другом башкирском говоре к той же основе прибавляется экатив -са: *аҗаг+са, муҗаг+са, šуҗаг+са* 'до того (этого) времени', ср. там же обычные формы *ansa, тупса, šupса*, но уже семантически обособившиеся — 'столько, настолько'⁴⁷.

Аналогичное усложнение в формах исходного и направительного падежей указательных местоимений наблюдается в шорском языке, где соответствующие падежные показатели также присоединяются к усложненным основам *тупаг/тупааг, апаг/апааг*: исходный падеж *тупаг-туп/тупааг-туп* 'отсюда', *апаг-туп/апааг-туп* 'оттуда', направительный падеж *тупага/тупаага* (ср. *тупагу/тупаагу*) 'сюда, по направлению сюда', *апага/апаага* (ср. *апагу/апаагу*) 'туда, по направлению туда'⁴⁸.

Схожее по своему аффиксальному составу усложнение дательного падежа личных местоимений наблюдается в якутском языке: «Дат. падеж у всех личных местоимений, за исключением *k'iniler*, имеет форму -iexе. Собственно, показателем дат. падежа здесь является элемент -хе, который часто усиливается еще аффиксом -уе (*miexeyе, ejixeyе, bihiexeyе* и т. д.)»⁴⁹. В акногайском диалекте кумыкского языка подобное аффиксальное усложнение при склонении местоимения 3-го лица ед. числа *ol* захватило не только дат.-напр. и другие пространственные падежи — местный, исходный, но, кроме того, еще вин. и родит. падежи: *опауа* (лит. *оуа*) 'ему', *опада* (лит. *онда*) 'у него', *опадан* (лит. *оппан*) 'от него', *опаду* (лит. *опу*) 'его', *опадун* (лит. *опун*) 'его'⁵⁰.

Иной по аффиксальному составу способ усложнения падежной формы указательного местоимения *bu* 'это(т)' представлен в отдельных якут-

⁴¹ См.: «Башкирская диалектология». Уфа, 1963, стр. 45, 47, 100, 167; «Башкирский диалектологический сборник». Уфа, 1959, стр. 101, 155.

⁴² Ш. Носиров. Кук,он шевасида келишик категорияси. — УТАМ, 1963, № 2, стр. 43.

⁴³ Н. К. Дмитриев. Грамматика кумыкского языка. М.—Л., 1940, стр. 76, 78.

⁴⁴ Э. В. Севортян. Указ. раб., стр. 50; Л. Н. Харитонов. Указ. раб., стр. 116.

⁴⁵ Ф. Г. Исхаков. Указ. раб., стр. 221; «Современный татарский литературный язык», стр. 197.

⁴⁶ А. А. Юлдашев. К изучению говора башкир Туймазинского района БАССР. — «Башкирский диалектологический сборник». Уфа, 1959, стр. 144.

⁴⁷ См.: Х. Г. Юсупов. Из наблюдений над морфологической системой инзерского говора башкирского языка. — Там же, стр. 155.

⁴⁸ Н. П. Дыренкова. Грамматика шорского языка. М.—Л., 1941, стр. 89.

⁴⁹ Л. Н. Харитонов. Указ. раб., стр. 157.

⁵⁰ См.: С. Х. Калмыкова. Акногайский диалект ногайского языка. Автореф. канд. дисс. М., 1965, стр. 14.

ских говорах: сравнительный падеж этого местоимения имеет форму местного падежа — таппа-таауаг (лит. таппауаг) 'чем это'⁵¹.

Смешение в одной падежной парадигме показателей дат.-напр. падежа -а (который обычно рассматривают как «огузский» вариант) и -уа, -ка наблюдается в ряде современных тюркских языков и диалектов. При посессивном склонении в хакасском, алтайском, шорском в дат.-напр. падеже параллельно употребляются формы типа хакасск. *ibingä/ibinä* 'в его дом', *čüregiñä/čüregiñgä* 'твоему сердцу', *пууата/пууатуа* 'моему быку'⁵². При склонении шорских притяжательных местоимений наблюдается некоторое распределение этих двух показателей дат.-напр. падежа: ед. число имеет показатель -gä (*meniñgä*), а мн. число — -ä (*meniñjileñä*)⁵³. В посессивном склонении северных диалектов алтайского языка распределение осуществилось по-другому: -а, -ä (в форме -па, -nä) закрепился за именами с аффиксом принадлежности 3-го лица ед. и мн. числа, посессивные формы 1-го и 2-го лица ед. и мн. числа получают показатели -уа/-gä, -ка/-kä (ср. также формы местоимений 1-го и 2-го лица ед. числа *tee/mege/maa* и *see/sege/saa* и даже имен *üjö/üvö/ügä*)⁵⁴.

В киргизском формы с показателем дат.-напр. падежа -а стали принадлежностью только посессивной парадигмы склонения (*атама* 'моему отцу', *атаңа* 'твоему отцу', *атасына* 'его отцу'), в то время как при склонении местоимений и имен используется показатель -уа⁵⁵.

Приведенный материал из современных тюркских языков подтверждает, таким образом, нашу мысль о том, что «смешение» показателей дат.-напр. падежа -а и -уа может быть объяснено не столько наличием инодиалектных вкраплений, сколько сложными процессами, протекавшими и поныне совершающимися в области местоименного, посессивного и именного типов тюркского падежного склонения.

В завершение краткого обзора специфических черт местоименного и посессивного склонений в современных тюркских языках можно сказать, что выравнивание трех типов падежных парадигм в различных тюркских языках происходило неодинаковыми темпами, с различной степенью интенсивности. В отдельных языках, как, например, в современном уйгурском, достаточно сильными оставались обособительные тенденции; именно поэтому выравнивание не захватило местоименную парадигму полностью.

Для того чтобы можно было восстановить с возможной полнотой картину развития местоименной, посессивной и именной падежных парадигм в тюркских языках, следует принимать во внимание также и те особенности исследуемых языковых единиц, которые (с точки зрения синхронной лингвистики) безразличны для регулярных соотношений

⁵¹ П. С. Афанасьев. Говор верхоянских якутов. Якутск, 1965, стр. 140.

⁵² См.: Н. П. Дыренкова. Грамматика хакасского языка. Абакан, 1948, стр. 58; Д. Ф. Патачакова. Качинский диалект хакасского языка. Автореф. канд. дисс. Новосибирск, 1965, стр. 17; Н. П. Дыренкова. Грамматика ойротского языка. М.—Л., 1940, стр. 113; *см. же*. Грамматика шорского языка. М.—Л., 1941, стр. 52.

⁵³ См.: Н. П. Дыренкова. Грамматика шорского языка, стр. 85. Заметим кстати, что падежная парадигма притяжательных местоимений обычно строится по образцу посессивной — так в шорском, киргизском, ногойском и других языках. Ср. в адыгейском, где «самостоятельные притяжательные местоимения» «по своим деклинационным свойствам ...выделяются среди других разрядов местоимений» (У. С. Зекох. Система склонения в адыгейском языке. Майкоп, 1969, стр. 21).

⁵⁴ См.: Н. А. Баскаков. Диалект черневых татар, стр. 62, 65, 69.

⁵⁵ См.: О. В. Захарова. Сопоставительная грамматика русского и киргизского языков. Морфология. Фрунзе, 1965, стр. 32, 35, 76, 80.

между этими единицами или же не выводимы из этих соотношений⁵⁶. Это касается прежде всего местоимений, которые, как известно, «дольше других сохраняют свои старые падежные формы»⁵⁷; важно также привлекать и онареченные падежные формы местоимений, которые значительно более разнообразны, чем формы живой парадигмы склонения⁵⁸. Осуществляя систематизацию грамматических архаизмов и пытаясь «приискать объяснение их образования», к чему призывал тюркологов еще В. Д. Смирнов⁵⁹, необходимо стремиться вписать эти особенности и «неправильности» в реконструируемую парадигматическую систему соотношений. Местоименная, посессивная и именная падежные парадигмы в тюркских языках должны стать предметом самостоятельных, но в то же время строго координированных сравнительно-исторических исследований.



⁵⁶ Ср.: Л. Иельмслев. Метод структурного анализа в лингвистике. — «Acta linguistica», VI, fasc. 2—3. Copenhagen, 1950—1951, стр. 57.

⁵⁷ М. И. Боргойков. Указ. раб., стр. 74; См. также: К. Е. Майтинская. Указ. раб., стр. 78 и сл.; В. В. Пассек. К вопросу о соотношении между редукцией окончаний и выдвижением синтаксических средств в английском языке. — «Вопросы грамматического строя». М., 1955, стр. 473; У. С. Зекох. Указ. раб., стр. 65.

⁵⁸ Об этом приеме реконструкции см.: К. Е. Майтинская. Указ. раб., стр. 78.

⁵⁹ В. Смирнов. Древнейшая датированная турецкая рукопись XIV в. — ЗВО РАО, т. XXII, вып. I—II. СПб., 1914, стр. 125.

М. Ш. РАГИМОВ

ЗНАЧЕНИЕ НЕРОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА В СРАВНИТЕЛЬНО- ИСТОРИЧЕСКОМ ИЗУЧЕНИИ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ ОГУЗСКОЙ ГРУППЫ

На территории Азербайджана с древнейших времен наряду с азербайджанцами проживает значительное число народностей, говорящих на языках неродственных азербайджанскому и входящих в различные языковые семьи. Основными из этих языков являются кавказские (удинский, лезгинский, аварский, табасаранский, хиналугский, будухский, крызский, агульский, цахурский, рутульский и др.) и иранские (талышский, татский, курдский).

Находясь с древнейших времен в тесных взаимосвязях с азербайджанским, эти языки сохранили в себе значительное количество древнетюркских элементов, представляющих огромный интерес как для изучения истории азербайджанского языка, так и для сравнительно-исторического исследования тюркских языков в целом, особенно огузской группы.

Помимо этого, упомянутые языки составляют своего рода микротерриторию неродственной языковой среды, на которой отдельными островками с древних времен функционируют те или иные говоры азербайджанского языка. Эти говоры, изолированные от родной языковой среды, меньше подвергались влиянию азербайджанского литературного языка и относительно медленнее претерпевали изменения. Поэтому они сохранили больше древних специфических черт почти на всех уровнях языка.

Отправной точкой при определении первоначальной языковой принадлежности специфических явлений, встречающихся как в нетюркских языках на территории Азербайджана, так и в существующих среди них азербайджанских говорах, могли бы служить остальные диалекты и говоры азербайджанского языка, поскольку общность фактов и их распространенность в последних сами по себе уже говорят об их тюркском происхождении. И в самом деле, в нетюркских языках в Азербайджане и особенно в территориально связанных с ними азербайджанских говорах немало фонетических, морфологических, синтаксических и лексических явлений, наблюдаемых и в других диалектах и говорах азербайджанского языка. Однако, помимо этих общих диалектных явлений, в первых имеются и такие специфические факты, которые не встречаются в остальных говорах и диалектах азербайджанского языка.

Чтобы выяснить, являются ли эти факты по своей природе тюркскими или нетюркскими, необходимо сопоставить их в первую очередь с памятниками древнетюркской письменности и с другими тюркскими языками, то есть такими источниками, которые не могли испытывать влияния указанных неродственных языков.

В азербайджанском говоре Астаринского района, находящемся в талышской зоне, широко распространено слово *tov* 'скорость, быстрота', которое в основном употребляется в сочетании с глаголом *vermək* в виде *tov vermək*, что означает «убыстрить, сильно ускорить (движение чего-то), дать быстроту (движению)»; ср. *G'ördüm gārānnu dūšej tov verdüm äjāylārymä* '(Я) увидел, что (уже) темнеет, и ускорил свои шаги' (досл. 'дал быстроту своим ногам'); *K'ändä az galmyš atinā bir tov verdi k'i, hamunı ötdi* 'Недалеко от деревни он дал (такую) скорость своему коню, что обогнал всех'.

Слово *tov* в таком же значении широко распространено и в талышском языке, где оно, как и в астаринском говоре азербайджанского языка, употребляется в сочетании с глаголом *do* 'давать'; например: *Bä aspi tov dome hämmänim evordoni* '(Я) убыстрил (бег) коня (досл. 'дал быстроту коню') и обогнал всех'.

Отметим, что как в астаринском говоре азербайджанского языка, так и в талышском языке *tov vermək*, *tov do* употребляются в связи с любыми средствами передвижения, управляемыми человеком. В других диалектах и говорах азербайджанского языка слово *tov* самостоятельно в указанном значении не встречается. Однако вряд ли в связи с этим его можно считать талышским заимствованием в астаринском говоре азербайджанского языка, поскольку слово *tov* в значении «быстро, быстрота» зафиксировано в «Дивану лугат-ит-турк» Махмуда Кашгари¹, ср. *Bu tay ol tovrak akyn akytgan* (МК I, 156) 'Эта гора заставляет быстрее стекать дождь'.

Бесим Аталай отмечает, что хотя в печатном издании «Дивана» Килисли приводит это слово в виде *tovrak*, однако в самой рукописи «Дивана» оно имеет следующее написание: *tavrak* (МК I, 156). Нам кажется, что независимо от того, какой из этих фонетических вариантов более приемлем, *tov* и *tav* представляют собой одно и то же слово (*a ~ o* — общеизвестное явление). Примечательно, что и в «Диване» Махмуда Кашгари, и в других древнетюркских памятниках это слово представлено лишь в производной форме, ср. *tavga* — 'оживляться, приходить в движение' (МК III, 41), *tavga* — 'спешить, торопиться' (МК II, 240), *tavrak* 'быстрый'. Приведенный выше факт из астаринского говора позволяет установить, что в основе всех этих производных слов лежит древнее *tav ~ tov* со значением 'скорость, быстрота'.

Интересно отметить, что в имишлинском говоре азербайджанского языка встречается сложное слово *teztoçi* 'торопливый, расторопный'², основа которого состоит из синонимичной пары: *tez* 'быстро, скоро', *to* 'быстро, скоро'. Это указывает на то, что *tov* — одно из древних тюркских слов, сохранившихся в астаринском говоре азербайджанского языка благодаря неродственной среде.

В ленкоранском³ и астаринском говорах азербайджанского языка употребляется сочетание *täk' dın* (произносится с основным ударением на первом компоненте) 'замолчи, не разговаривай, тише'. Эта категорическая повелительная форма в указанных говорах употребляется пре-

¹ Divanü lûgat-it-türk tercümesi. Çeviren Besim Atalay. Ankara, Cilt I, 1939; Cilt II, 1940; Cilt III, 1941. (В дальнейшем — МК).

² См.: М. М. Чәфәрзadə. Азәрбајҹан дилинин Имишли рајону шивәләри (канд. дисс.). Бақы, 1969, стр. 126.

³ См.: Ә. Б. Мәҗидова. Азәрбајҹан дилинин Ләнкәран шивәси (канд. дисс.). Бақы, 1970, стр. 130.

имущественно в единственном числе II лица (в астаринском говоре нередко и во множественном числе II лица в виде *täk' dinin* 'замолчите, не разговаривайте') в тех случаях, когда говорящий призывает собеседника или собеседников к абсолютной тишине, с тем чтобы обратить внимание присутствующих на что-либо.

В других диалектах и говорах азербайджанского языка выражение *täk' din* не встречается. Но оно как по своему значению, так и по структуре тождественно сочетанию *tek' tur*, зафиксированному в «Дивану лугат-ит-турк» Махмуда Кашгари. Здесь приведены два значения слова *tek'*: 1) 'просто так (т. е. без какой-либо цели)', например, *tek' k'eldim* 'я пришел просто так (без какой-либо цели)'; 2) 'тихо', например: *tek tur* 'молчи' (*досл.* 'стой тихо') — (МК I, 334)⁴.

Таким образом, отсюда видно, что слово *täk'* в составе выражения *täk' din* в астаринском говоре азербайджанского языка — не что иное как древнетюркское *täk'* со значением «тихо» (ср. *täk' din* 'молчи, тише' в астаринском говоре и *tek' tur* 'молчи, тише' в «Диване» Махмуда Кашгари).

Не вызывает никакого сомнения то, что *tur* в составе *tek' tur* в «Диване» Махмуда Кашгари является повелительной формой глагола *tur-* 'стоять'. Но что же представляет собой *din* в сочетании *täk' din* в астаринском говоре азербайджанского языка? В древнетюркских памятниках имеется глагол *tyn-* со значением «останавливаться, прекращаться», ср.: *jaŋtur tyndy* 'дождь прекратился', *ik'ig'ü sözi tyndy bir söz üzä* *досл.* 'речи обоих остановились на одном слове' (ДТС, 567).

Учитывая активное употребление в азербайджанском языке глагола *dajap-* 'останавливаться, стоять, перестать' (ср. *jaŋyş dajandy* 'дождь прекратился', *häjätdä dajanyb, säni g'özläjir* 'он стоит во дворе и ждет тебя'), можно предполагать, что слово *din* в составе *täk' din* — это древнетюркский глагол *tyn-*, сохранившийся в астаринском говоре азербайджанского языка с незначительным фонетическим изменением. Не случайно, что в этом говоре данный глагол в составе *täk' din* выступает как в единственном, так и во множественном числе II лица повелительного наклонения. Таким образом, *täk' din* здесь буквально означает «становись тихим» или «стой тихо», то есть «(за) молчи, тише».

Кстати, если учесть, что в тюркских языках *r* и *l* являются залогообразующими элементами, то вполне можно допустить, что *tyn-*, *din-*, *dajap-*, *dug-* исторически восходят к глаголу **ty-* 'стоять, стать'.

В талышском языке употребляется составной глагол *bä ärsä räse* 'возмужать, достичь совершеннолетия, повзрослеть', например: *Ähmädi k'ina bä ärsä räsa, šü še vaxtyše* 'Дочь Ахмеда (уже) повзрослела, ей пора выходить замуж'; *Häsäni zoä bä ärsä räsa, žen varde vaxtyše* 'Сын Гасана возмужал, ему пора жениться'.

В азербайджанском разговорном языке встречаются глаголы *ärsäjä g'äl-* и *ärsäjä çat-* в значении «повзрослеть, возмужать, достигнуть совершеннолетия», например: *Нарынын зәһмәти илә бөйүжүб әрсәјә чатан Күлүш...* (Ә. Вәлијев) 'Тюлюш, которая выросла и достигла совершеннолетия благодаря стараниям Нарина...'; *Бу гыз әрсәјә кәләндән бәри бу кәндә*

⁴ В «Древнетюркском словаре» слово *tek'* дано лишь в одном значении, и поэтому оно в обоих примерах, приведенных Махмудом Кашгари, переводится одинаково; ср. *tek' tur* 'стой просто так' и *tek' k'eldim* 'я пришел просто так'. См.: Древнетюркский словарь. Л., 1969, стр. 550. (В дальнейшем — ДТС). Между тем, если в примере *tek' k'eldim* слово *tek'* действительно выступает в значении 'просто так', то в примере *tek' tur* оно употребляется в значении 'тихо': *tek' tur* 'молчи' (*досл.* 'стой тихо'), на что правильно указано Бесимом Аталаем: «... *تەك تۇر* *tek tur* = *tek dur*, *sus. Oğuzca*» (МК I, 334).

бир нәфәр дә олса оғру ајағ баса билмәмишдир. (М. С. Ордубади) 'С тех пор как эта девочка стала взрослой, ни один вор не осмелился ступить ногой в эту деревню'; Серҗожа бөҗүҗүб, эрсәҗә кәләнән сонра өз билдиҗини едәрсән. («Азербайҗан гадыны», 1955, № 6) 'Будешь делать, что захочешь, после того как Серҗежа достигнет совершеннолетия'⁵.

В астаринском говоре азербайджанского языка в значении «взрослая, достигшая совершеннолетия» выступает также слово *ärsäk'*, относящееся только к девушке, например: *Sän indi jekä ärsäk' gyzsan, g'äräj šejdä tämizk'ar, säligäli olasan* 'Ты уже достаточно взрослая девушка (то есть тебе уже можно выйти замуж) и во всем должна быть чистоплотной и аккуратной'.

Слово *ärsäk'* в других диалектах и говорах азербайджанского языка не встречается. Это слово является, несомненно, одним из реликтов древности, поскольку в «Диване» Махмуда Кашгари зафиксирован глагол *ärsäklänpmäk'* 'возбуждаться, испытывать влечение к мужчине' (ДТС, 181).

Махмуд Кашгари указывает, что аффикс *-sa, -sä*, присоединяясь к именам и глагольным основам, образует глаголы со значением хотения, например: *ol anu ursady* 'он захотел ударить его', *är ävsädi* 'мужчина (за)хотел домой', *är jatsady* 'мужчина захотел спать' и др. (МК I, 275).

Отсюда ясно, что *ärsäk'län-* — производный глагол, в основе которого лежит первичный глагол *ärsä-* в значении «(за)хотеть мужчину» (*är* 'мужчина' + *sä* 'аффикс, образующий глагол со значением хотения'). Следовательно, слово *ärsäk'* в астаринском говоре является отглагольным именем, образованным сочетанием глагола *ärsä-* и аффикса *-k'* (ср.: например, *dilä-* 'желать', *diläk'* 'желание, мечта' в азерб. лит. языке).

В «Диване» Махмуда Кашгари слово *ärsäk'* зафиксировано в значении «распутная женщина» (МК II, 56). Однако в астаринском говоре слово *ärsäk'* не имеет такого отрицательного значения, здесь оно выступает в качестве определения только в сочетании со словом *gyz* 'девушка' в виде *ärsäk' gyz*, что означает «девушка, достигшая совершеннолетия, возраст которой позволяет выйти замуж». Такая смысловая дифференциация, видимо, связана с семантикой слова *äg*, которое в древнетюркских памятниках означало «муж, мужчина» (ДТС, 175). Поэтому глагол *ärsä-* имел два значения: 1) «(за)хотеть мужа, хотеть выйти замуж»; 2) «(за)хотеть мужчину». Слово *ärsäk'* в астаринском говоре связано с первым значением глагола *ärsä-*. Отметим, что и слово *äg* здесь выступает только в значении «муж», тогда как в других диалектах и говорах азербайджанского языка оно встречается и в значении «мужчина».

В астаринском говоре азербайджанского языка, представленном в нескольких тюркоязычных селениях, окруженных талышскими деревнями, употребляется слово *goҗaҗa* 'журавль'. В талышском языке оно имеет соответствие *gälü||gälüşnä*.

Сопоставление слова *goҗaҗa* с данными древнетюркских памятников позволяет считать его исконно тюркским, состоящим из двух частей: *goҗa* и *җa*, каждая из которых в древности имела самостоятельное значение.

Так, в древнетюркских памятниках встречаются слова *govҗa* 'ведро, бадья' (ДТС, 461) и *җat* 'колодец' (ДТС, 141). Переход *ov* в *o* или исчезновение *u* в позиции между заднеязычными *o* и *γ* вряд ли нуждаются в

⁵ Все три примера взяты из картотеки «Толкового словаря азербайджанского языка» (Архив отдела лексикологии Института языкознания АН Азерб. ССР).

объяснении. Что касается компонента *ša* в составе *goyaša*, то он, по всей вероятности, восходит к слову *šal* в значении «колодец». Как известно, в алтайских языках имеется звуковое соответствие *t ~ l*, ср.: в монгольских языках аффиксы *-tu*, *-tū*, образующие прилагательные, например, *usutu* 'имеющий воду' и 'водный'⁶; в тюркских языках аффиксы *-ly*, *-li*, *-lu*, *-lū* с тем же значением, например, *su lu* 'имеющий воду' и 'водный'. Ср. также аффикс множественного числа в тунгусском и монгольском языках *-tan ~ -ten*⁷ с азербайджанским *-lar*, *-lär*.

В пользу *šat ~ šal* 'колодец' говорит и наличие в азербайджанском языке слова *šala* 'яма, пробоина, углубление, лунка', где конечный *a* исторически является словообразующим элементом; ср. также *šalov* 'совок' в азербайджанском языке. Следует упомянуть здесь о наличии в азербайджанском языке слова *šat* 'трещина, щель, расщелина', от которого образовались *šatla* 'треснуть, растрескиваться', *šatlag* (в произношении — *šatdag*) 'трещина, расщелина, треснутый'. Семантическое сродство между *šat* 'колодец' и *šat* 'трещина', а также *šala* 'яма, пробоина, углубление, лунка' позволяет предположить наличие в староазербайджанском языке слова *šal* 'колодец'. В талышском языке для обозначения колодца употребляется слово *šol*. Если учесть, что в талышском языке в заимствованных из азербайджанского языка словах звук *a*, как правило, переходит в *o*, то станет ясным, что *šol* 'колодец' в талышском языке — это древнетюркское *šal* 'колодец'; ср. также в талышском языке и астаринском говоре азербайджанского языка *šolä* 'яма, пробоина, лунка, углубление' вместо лит. азерб. *šala*; или же парные *šolä-šuggur* (лит. азерб. *šala-šuxur*) 'местность с ямами, ухабистая местность'.

В сальянском говоре азербайджанского языка употребляется слово *šopa* 'яма глубиной в один метр'⁸, где, учитывая звуковое соответствие *l ~ p*, нетрудно видеть семантическое родство с литературным *šala* 'яма'.

Очевидно, *l* и *t* в словах *šal* и *šat* 'колодец' являются относительно более поздними элементами со словообразующей функцией. Семантическая близость *šat* 'колодец', *šal* 'колодец' и *šat* 'трещина', а также наличие в азербайджанском языке слова *šuxur* 'яма, впадина, рывина, выем, углубление' (ср. парное *šala-šuxur* 'местность с ямами') позволяют предположить, что исторически *šal* и *šat* восходят к древнему корню **ša* со значением: 1) «рыть, делать углубление»; 2) «яма, углубление, впадина».

Нельзя не упомянуть здесь и глагол *šök'* в значении «опускаться, осесть, оседать» и производные от него *šökäl-* 'опускаться, оседать', *šök'ält-* 'делать впадину, вдавливать', *šök'äk'* 'яма, углубление, ложбина, падь, падина; осадина', *šök'äk'lik'* 'осевшее место, вдавленность, вогнутость', *šök'ük'* 'вогнутый, впалый' в азербайджанском языке, что позволяет реконструировать древнейшую форму этого глагола в виде **šy-* 'рыть, делать углубление'.

В талышском языке в настоящее время сравнительно широко распространен составной глагол *ald karde* 'обманывать, обмануть; издеваться, высмеивать', первый компонент (лексическая основа) которого имеет значение «обман, хитрость». Например: *Az dāji gylāj ald bakardem äv hi č bäsä dānjäše* 'Я его так обману (досл. 'сделаю такую хитрость'), что он ничего не поймет (то есть не поймет, что к чему)'; *Damy ald mākā, az hyrdāp nim* '(Ты) не высмеивай меня, я не ребенок'. Этот составной глагол употребляется также в астаринском говоре азербайджанского языка,

⁶ См. примечание 34 в книге: Г. И. Рамstedт. Введение в алтайское языкознание. М., 1957, стр. 230.

⁷ Там же, стр. 59.

⁸ См.: Азербайжан дилинин диалектологи лугәти. Баки, 1964, стр. 449.

например: *Mänpän jaman ald elädi* 'Он) здорово обманул меня'. Причем здесь он выступает только в значении «обмануть, обманывать».

В других диалектах и говорах азербайджанского языка глагол *ald elä-*, как и слово *ald*, не встречается.

Однако, наличие в древнетюркских памятниках («Кутадгу билиг», «Дивану лугат-ит-турк») слова *al* со значением «обман, уловка, ухищрение» (ДТС, 32) вполне позволяет предположить, что *ald* в составе *ald karde* и *ald elä-* — исконно тюркский элемент, сохранившийся в талышском языке и в астаринском говоре азербайджанского языка.

Очевидно, *ald* является производным словом, в котором элемент *d* имеет словообразующую функцию. Если учесть, что аналитическое сочетание причастия прошедшего времени глагола азербайджанского языка с вспомогательным глаголом талышского языка *karde* 'делать' является одним из продуктивных способов образования сложно-составных глаголов в талышском языке (ср. *inandyrmyš karde* 'убеждать', *aldatmyš karde* 'обманывать'), то можно допустить, что *ald* — исторически отглагольное имя на *yd*. Однако наличие в азербайджанском языке глаголов *aldat-* 'обманывать, обмануть, хитрить', *aldan-* 'быть обманутым', *aldadyl-* 'быть обманутым' делает в определенной степени сомнительным такое допущение. Элемент *d* в составе *ald* может быть и залоговым показателем. Но независимо от того, является ли *d* в составе *ald* аффиксом, образующим отглагольное имя, или залогообразующим элементом, вышеуказанные образования позволяют предположить, что исторически в основе их лежит древний глагол **al-* в значении «обмануть, обманывать». Таким образом, надо полагать, что в глубокой древности в тюркском языке-основе наличествовало не только существительное *al* 'обман, ухищрение', но и глагол *al-* 'обмануть, обманывать'. Ср. аналогичное *gigi* — имя со значением «суша, сухой» и глагол *gigi-* 'высыхать, сохнуть; засохнуть, иссохнуть', отглагольное имя *gigud* 'высушенные шарики из процеженного кислого молока' и глагол *gigut-* 'сушить, осушить, высушивать, иссушить'.

В «Дивану лугат-ит-турк» Махмуда Кашгари зафиксировано древнетюркское слово *šagug* 'голубой', обозначающее цвет (МК I, 183). В современном азербайджанском литературном языке, как и в его диалектах и говорах, данное слово не встречается. Однако в талышском языке это слово сохранилось в двух вариантах с близкими значениями. Так, в талышском языке широко распространено слово *šay* 'голубой', которое употребляется только вместе со словом *šāš* 'глаз', например, *šāyā šāš* 'голубые глаза, голубоглазый', ср. *Šāji k'inop gylāj šāyā šāše* 'Одна из его дочерей голубоглазая'.

В талышском языке наряду с этим имеется слово *šāyu* 'зеленый, неспелый; серовато-голубой', которое, сочетаясь с вспомогательным глаголом *be* 'быть', образует составной глагол *šāyu be* 'посинеть; позеленеть; посереть'. Например: *Axtā tyni šāš ka šāyu bim* 'Столько я тебя ждал, что посинел (от ожидания)'; *Tyni šāyu bybüš* 'Чтоб ты околел (досл. посинел)'; *Hyndyli bā zāmin mānā, šāyu bābe* 'Не клади ежевику (в посуде) на землю, (а то) позеленеет'.

По всей вероятности, *šāyu* в талышском языке является фонетическим вариантом зафиксированного в «Диване» Махмуда Кашгари тюркского *šayug*, в котором выпал конечный г. Наличие же в талышском языке слова *šāy* дает основание считать *šayug* производным словом, состоящим из двух частей: *šay* и *ug*, где *ug* является, по-видимому, словообразующим аффиксом. Интересно отметить, что древнетюркское слово *šayug* сохра-

нилось в удинском языке в виде *šaγag* 'голубой' в составе сочетания *šaγag rułmıx* 'голубоглазый'⁹. Итак, существование в талышском языке слова *šaγ* дает основание предположить, что корневой частью тюркского *šaγut* является *šaγ* и что в древнетюркском языке наличествовало самостоятельное корневое слово **šaγ* со значением 'голубой, серовато-голубой, зеленый (неспелый)'. Если учесть звуковое соответствие *l~ɣllj*, то в пользу нашего предположения говорит также наличие в азербайджанском языке слова *çal* в значении 'чалый, седой'; ср. *čalsagğal* 'седобородый', *čalsaç* 'седовласый', а также производные глаголы *čalla-* 'посесть, сесть', *čallan-||čallaš* 'становиться седым'.

Таким образом, мы приходим к выводу, что в талышском языке в виде *šaγ* сохранилась более древняя основа тюркского слова *šaγut*, зафиксированного в «Диване» Махмуда Кашгари.

Следует отметить, что в ряде диалектов и говоров азербайджанского языка *šaγ* 'неспелый, зеленый' сохранился в составе сложных слов типа *šaγgala* и *šaγall||šaγala* 'неспелый, зеленый (фрукт)', например: *Ärig'i šaγgala jemäk' zijandy* 'Кушать абрикос зеленым (неспелым) вредно'; *Äriñ nä gädär k'i, jetišmäjib, una šaγala dejäryx* 'Неспелый абрикос мы называем чагала'¹⁰.

Хотя в этих говорах *šaγgala* и *šaγala* воспринимаются как одно слово — прилагательное «неспелый, зеленый», нетрудно установить, что здесь *gala* восходит к *g'ilä* 'фрукт, ягодка' (ср. название дикой ягоды черного цвета *garag'ilä* досл. «черная ягода» в азербайджанском языке; *sing'ilä < širing'ilä* 'сладкие ягоды' в астаринском говоре азербайджанского языка).

В современном азербайджанском языке для обозначения понятия «саранча» употребляется слово *čäjirtk'ä*. В талышском языке в этом значении бытует слово *čäk'ürk'ä*. На первый взгляд может показаться, что это талышская форма произношения азербайджанского *čäjirtk'ä*. Однако в «Диване» Махмуда Кашгари отмечается, что для обозначения понятия саранча в огузском языке имеется слово *čäk'ürk'ä* (МК I, 451). Следовательно, в талышском языке сохранилась именно древнетюркская форма данного слова.

В ленкоранском говоре азербайджанского языка употребляется глагол *sämgi-* 'полнеть; похорошеть'¹¹, который не встречается в других диалектах и говорах азербайджанского языка. Однако данный глагол в таком же значении широко представлен в древнетюркских памятниках; ср. *semgi-* 'жиреть, полнеть' в «Кутадгу билиг» (*turuk semridi* 'худые пополнили') и «Дивану лугат-ит-турк» (*goj semridi* 'овца разжирела') (ДТС., 495). Это говорит о том, что в ленкоранском говоре азербайджанского языка сохранился один из древнетюркских глаголов.

Ярдымлинский говор азербайджанского языка, можно сказать, находился в двойной изоляции от родственной языковой почвы. Во-первых, этот говор представлен в нескольких тюркоязычных селениях, находящихся в отдаленном горном районе; во-вторых, он отделен от других диалектов и говоров азербайджанского языка широкой ираноязычной (талышской) полосой. Именно благодаря такой изоляции в ярдымлинском говоре сохранился целый ряд древнетюркских слов, которые в других диалектах и говорах азербайджанского языка не встречаются.

⁹ Этот факт сообщил нам В. Гукасян.

¹⁰ См. Азербайжан дилинин диалектологи лугәти, стр. 432.

¹¹ См.: Э. Б. Мөчидова. Указ. дисс., стр. 203.

Так, в ярдымлинском говоре употребляется сейчас слово *jeg'ān* 'племянник'¹², которое в таком же виде и значении зафиксировано в древнетюркских памятниках, ср. *birlā gavyšmyš gayadaš jegān tayaj adaš* 'вместе объединились брат, племянник, дядя, товарищ' (ДТС, 252).

В этом же говоре имеется слово *jažilü* 'странный, удивительный', например: *Jažilü adamdu, nä desön čuxar* '(Он) странный человек, от него можно ожидать всего'¹³.

В «Дивану лугат-ит-турк» зафиксирован глагол *јазап-* 'стыдиться, смущаться' (ДТС, 222), в составе которого *п* является словообразующим формантом (ср. аналогичное в азербайджанском языке: *dola-* 'обматывать, наматывать, обвивать' и *dolan-* 'вращаться, ходить вокруг; жить, поживать'). Видимо, как этот глагол, так и слово *jažilü* в ярдымлинском говоре восходят к первичному *јаз-* со значением «стыдиться, смущаться, быть странным». Таким образом, можно предположить, что слово *jažilü* в ярдымлинском говоре состоит из отглагольного имени на -у, -і (*јази* 'странность') и словообразующего аффикса атрибутивности -*lū*.

В ярдымлинском говоре употребляется глагол *tašala-* 'вываливаться, вылезать', который, судя по аналогии с глаголами *sār-* 'сеять, брызгать, высыпать' и *sārälä-* 'рассыпать, разбрызгивать', *gov-* 'гнать, прогнать' и *govala-* 'прогнать, отгонять', восходит к древнему глаголу *taš-* 'переливаться через край, выходить из берегов, разливаться', ср. также *tašyI-* 'выходить, вылезать, вываливаться' в древнетюркских памятниках' (ДТС, 540).

В силу того, что этот говор находится в неродственном языковом окружении, в нём встречаются такие производные от широко распространённых в современном азербайджанском языке глаголов слова, которые по характеру их образования нельзя не отнести к древнему периоду истории тюркских языков; например, *juxyntu* 'больной' (от глагола *jux-* 'валить, повалить') вместо литературного *xästä* 'больной'; *ke'čalat* 'мост, переход' (от глагола *k'eč-* 'переходить, перейти') вместо литературного *k'ögrü* 'мост' (ср. *k'ečiš* в значении «мост» в древнетюркских памятниках — ДТС, 291); *juyta*¹⁴ 'войско' (от глагола *juy-* 'собирать, набирать') вместо литературного *gošup* 'войско'.

В татском языке в настоящее время употребляется слово *sürt* 'возвышенность'¹⁵, которое в виде *syrt* 'возвышенность' зафиксировано ещё в древнетюркских памятниках (ДТС, 205).

Данные письменных памятников показывают, что в староазербайджанском языке для обозначения понятия «лоб» функционировало слово *gabag*, которое не встречается сейчас в этом значении ни в литературном азербайджанском языке, ни в его диалектах и говорах. Однако это тюркское слово сохранилось в ряде говоров татского языка, где вместо общетатского *pišni* 'лоб' (ср. персидское *pišane*) употребляется древнеазербайджанское *gabag*¹⁶.

¹² См.: Т. Б. *Һәмзәев*. Ярдымлы району шивәләринин лугәтинә даир бә'зи гејдләр. — «Азәрбајҹан ССР ЕА хәбәрләри. Әдәбијјат, дил вә инчәсанәт серијасы», 1969, № 2, стр. 99.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же.

¹⁵ См.: Т. М. *Әһмәдов*. Азәрбајҹан вә тат дилләринин лексик әлағәләри (канд. дисс.). Бақы, 1969, стр. 59.

¹⁶ Там же, стр. 57.

Подобные реликты сохранились и в отдельных кавказских языках, бытующих на территории Азербайджана: в удинском — *ajt||ajut* 'слово', *šav* 'слава, блеск', *saz||sazlyg* 'целина', *jähni* 'холодец'¹⁷; в цахурском — *ag-* 'вспоминать' в составе *agmyšgyt* 'вспоминать' и др.¹⁸, а также в соседних с ними северных говорах азербайджанского языка.

Наличие общих древнетюркских элементов в иранских и кавказских языках на территории Азербайджана, значительное количество древних тюркизмов в топонимике Кавказа, древнеармянских источниках и персоязычных произведениях XI—XII вв., а также ряд других данных (арабские исторические источники и др.) позволяют предположить, что: 1) азербайджанский (тюркский) язык функционировал на территории Азербайджана задолго до прихода на Кавказ сельджуков; 2) еще в V—VI вв. нашей эры общенародный азербайджанский разговорный язык был средством общения между населявшими тогда территорию Азербайджана многочисленными племенами и народностями, носителями различных кавказских языков.

Небезынтересно привести здесь следующее высказывание арабского историка X века Ибн-Хаукаля из его «Книги путей и царств»: «Завазан округ и крепость с плантациями; большая часть его гориста... Горы его тянутся от Хариса и Хувайриса до цепей Агара и Варзакана, затем тянутся на север к Тифлису, где с ним соединяется хребет Кабк. Хребет этот огромный; говорят, что на нем 360 языков; я раньше отрицал это, пока не видел сам много городов, и в каждом городе есть свой язык *помимо азербейджанского* (курсив наш. — М. Р.) и персидского»¹⁹.

¹⁷ См.: Г. Ворошил. Азербайжан вэ удин диллэринин гаршылыгы элагэлэринэ даир.—«Азербайжан ССР ЕА хэбэрлэри. Эдэбијјат, дил вэ инчэсанэт серијасы». 1966, № 3, стр. 70—78; В. Гукасян. К освещению некоторых вопросов истории Азербайджана в монографии «Азербайджан в VII—IX вв.» — «Известия АН Азерб. ССР, серия истории, философии и права», 1948, № 4, стр. 115—135.

¹⁸ См.: А. М. Асланов. Взаимоотношения азербайджанского и цахурского языков (на материале закатало-кахских говоров). Автореф. канд. дисс. Баку, 1965; Н. С. Джигдалаев. О диахронии тюрко-дагестанских языковых контактов. — «Советская тюркология», 1970, № 3, стр. 99—108, и др.

¹⁹ Перевод Н. А. Караулова. См.: «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа». Выпуск 38. Тифлис, 1908, стр. 97.

Д. М. НАСИЛОВ

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

В последнее десятилетие внимание лингвистов разных специальностей к типологическим исследованиям языков значительно возросло. Наряду с уже давно утвердившимся в типологии направлением, ориентирующимся на уточнение и обоснование морфологической классификации языков¹, определились новые пути типологических исследований, заключающиеся прежде всего в сближении методов структурного и системного изучения языка с типологическими, а также в выяснении точек сближения методов типологического и сравнительно-исторического языкознания². В связи с этим естественно различать типологию как самостоятельную отрасль науки о языке, решающую с помощью комплекса специальных приемов и методов исследования собственные задачи, и сами приемы и методы, применяющиеся в типологии и могущие быть использованными *mutatis mutandis* при изучении и описании отдельных грамматических явлений в других областях языкознания.

Как и во всех аналогичных случаях, здесь также отмечается обилие мнений и разнообразие точек зрения³. Можно напомнить, например, хотя бы два мнения о сущности типологических исследований. Так, Б. А. Успенский определяет структурную типологию «как систематизацию, инвентаризацию явлений разных языков по структурным признакам (то есть признакам, существенным с точки зрения структуры данного языка)»⁴, а ее основные задачи он видит в «выявлении изоморфизма и ал-

¹ См.: В. З. Панфилов. О задачах типологических исследований и критериях типологической классификации языков. — «Вопросы языкознания», 1969, № 4, стр. 3—15; сб. «Морфологическая типология и проблема классификации языков». М.—Л., 1964.

² См.: Э. А. Макаев. Сравнительная, сопоставительная и типологическая грамматика. — «Вопросы языкознания», 1964, № 1; *его же*. Проблемы и методы современного сравнительно-исторического индоевропейского языкознания. — «Вопросы языкознания», 1965, № 4; М. И. Бурлакова, Т. М. Николаева, Д. М. Сегал, В. Н. Топоров. Структурная типология и славянское языкознание. — В сб.: «Структурно-типологические исследования». М., 1962, стр. 3—18; Р. Якобсон. Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание. — В сб.: «Новое в лингвистике», вып. III. М., 1963, стр. 95—105. В этих работах содержится также обширная библиография вопроса.

³ См.: Т. Милевский. Предпосылки типологического языкознания. — В сб.: «Исследования по структурной типологии». М., 1963, стр. 3—31; В. Скаличка. Типология и тождественность. — Там же, стр. 32—34; Вяч. Вс. Иванов. Типология и сравнительно-историческое языкознание. — «Вопросы языкознания», 1958, № 5; И. И. Ревзин. Модели языка. М., 1962; Б. А. Успенский. Принципы структурной типологии. М., 1962; Вяч. Вс. Иванов, Ю. К. Лекомцев. Проблемы структурной типологии. — В сб.: «Лингвистическая типология и восточные языки. Материалы совещания». М., 1965 и др.

⁴ Б. А. Успенский. Указ. раб., стр. 6.

ломорфизма разных языков»⁵. С этой целью автором строится язык-эталон или метаязык и определяется степень близости конкретного языка к этому языку-эталону при учете числа трансформаций перехода от структуры последнего к структуре исследуемого языка⁶.

В. Скаличка же видит основную задачу типологии в определении места, занимаемого каждым существующим природным языком среди языков, которые с разной степенью вероятности могут реально существовать⁷. К решению указанной генеральной задачи можно подойти лишь произведя некоторые предварительные исследования, призванные определить общее для всех языков и специфичное лишь для ряда из них: 1) овладение фактами, 2) познание структурных отношений между ними (или структурация), 3) квантификацию этих фактов⁸. Выполнение всего этого позволяет определить особенности проявления различных типов в конкретном языке на фоне вероятностной возможности реализации языковой структуры вообще⁹.

Однако, несмотря на многоликость типологических исследований, все же представляется возможным определить некоторые из направлений в типологии, характеризующиеся в основном степенью обобщенности и универсальности используемых типологических характеристик, или констант, а также принципами их выделения и приложения к конкретному языковому материалу¹⁰.

Несомненно, положительным является тот факт, что и в отечественных исследованиях последнего времени ставится вопрос о важности специального типологического подхода к решению некоторых чисто тюркологических задач. Между тем нельзя не отметить, что отечественные тюркологи, начиная с О. Бётлингга и В. В. Радлова, в своих работах использовали в той или иной степени сопоставление различных языков с тюркскими. Сейчас уже возникла необходимость в переходе к новому этапу в типологических исследованиях в связи с возросшим вниманием к сравнительно-историческому изучению тюркских языков и созданию их исторической грамматики.

Так, например, А. М. Щербак считает типологический метод наряду с сравнительно-историческим и ареальным одним из основных методов исследования сравнительной фонетики тюркских языков¹¹. По его мнению, фонетические и фонологические закономерности или реконструкции, устанавливаемые применительно к конкретному языку, приобретают большую доказуемость, если они укладываются в типические закономерности, характерные для других языков¹².

На важность разработки историко-типологической грамматики тюркских языков указывает в серии статей Н. А. Баскаков¹³. Он при-

⁵ Б. А. Успенский. Указ. раб., стр. 7.

⁶ Там же, стр. 18—19.

⁷ См.: В. Скаличка. К вопросу о типологии. — «Вопросы языкознания», 1966, № 4, стр. 22, 30.

⁸ Там же, стр. 24.

⁹ Там же, стр. 29—30.

¹⁰ См.: В. [А.] Звегинцев. Современные направления в типологическом изучении языков. — В сб.: «Новое в лингвистике», вып. III. М., 1963, стр. 9—18; В. Скаличка. О современном состоянии типологии. — Там же, стр. 19—35; Сб. «Universals in Linguistic Theory». New York, 1968.

¹¹ А. М. Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970, стр. 22—24; Э. А. Макаев. Проблемы и методы современного сравнительно-исторического индоевропейского языкознания, стр. 4—5.

¹² А. М. Щербак. Указ. раб., стр. 22.

¹³ См.: Н. А. Баскаков. Основные задачи историко-типологического изучения грамматики тюркских языков. — «Тюркологический сборник 1970». М., 1970, стр. 80—92; его же. К проблеме историко-типологического изучения грамматики тюркских языков. — «Вопросы языкознания», 1969, № 4, стр. 56—64.

держивается мнения, что «историко-типологическая грамматика группы родственных (в данном случае тюркских) языков по существу должна дать точное представление о взаимоотношении категорий мышления, общих для всего человечества, и категорий данного языка или группы языков, реализующих эти единые для всех категории мышления, имеющие, однако, различную языковую форму»¹⁴.

Останавливаясь на методах исследования истории синтаксических единиц и выявления основных путей их развития в тюркских языках, Н. З. Гаджиева отмечает, что достижению указанных целей служит, с одной стороны, использование типологических особенностей семьи родственных языков, а с другой — привлечение типологических закономерностей самых разнообразных языков¹⁵. Она также приходит к выводу, что «синтаксическая типология... является необходимым подсобным приемом в сравнительно-исторических исследованиях»¹⁶.

Здесь же можно упомянуть и концепцию Г. П. Мельникова о системной лингвистике, последовательно развиваемую им в ряде статей. Он рассматривает язык как адаптивную систему и выявляет ее детерминанту. Детерминанта алтайских, в том числе и тюркских, языков определяется им как принцип экономии служебных элементов языка. Исходя из этого, различия отдельных алтайских языков дефинируются через разную степень настроенности языков по данной детерминанте¹⁷.

Не ставя целью детальное рассмотрение столь разнообразных точек зрения тюркологов, возможно, частью и дискуссионных, отметим, что большее внимание уделяется здесь широким типологическим сопоставлениям, выходящим за рамки тюркских, шире — алтайских, языков разнообразных типов и семей и даже общечеловеческим «моделям мышления», а также их соотношению с языковыми категориями и моделями¹⁸.

Между тем, представляется не только возможным, но и целесообразным привлекать методы типологии и при исследовании группы родственных языков, в данном случае — тюркских. Возможности использования таких методов применительно к родственным языкам рассматриваются, например, в ряде статей В. Н. Ярцевой¹⁹, а в качестве конкрет-

¹⁴ Н. А. Баскаков. Основные задачи историко-типологического изучения..., стр. 85.

¹⁵ Н. З. Гаджиева. Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков. Автореф. докт. дисс. М., 1970, стр. 12—13.

¹⁶ Н. З. Гаджиева. О методах сравнительно-исторического анализа синтаксиса (на материале тюркских языков). — «Вопросы языкознания», 1968, № 3, стр. 24; ср.: *ее же*. К вопросу о методах изучения истории тюркских языков на материале синтаксических конструкций. — В сб.: «Тюркологические исследования». М.—Л., 1963, стр. 124—134; *ее же*. Приемы сравнительно-исторического анализа на материале синтаксиса тюркских языков. — «Симпозиум по сравнительно-исторической грамматике тюркских языков 13—15 июня 1967 г. Тезисы сообщений». М., 1967, стр. 3—5.

¹⁷ См.: Г. П. Мельников. Алтайская теория с позиций системной лингвистики. — В сб.: «Проблема общности алтайских языков». Л., 1971 (в печати); *его же*. Причины нарушения симметрии в системе киргизских гласных. — «Советская тюркология», 1970, № 1 (тут же библиография его работ).

¹⁸ Ср.: Дж. Г. Киекбаев, Н. Х. Ишбулатов, К. З. Ахмеров и А. М. Азанбаев. О применении метода структурной лингвистики в сравнительно-исторической грамматике тюркских и других алтайских языков. — «Симпозиум по сравнительно-исторической грамматике...», стр. 5—6.

¹⁹ В. Н. Ярцева. О задачах сопоставительно-типологического изучения родственных языков. — В сб.: «Вопросы общего языкознания». М., 1964, стр. 54—60; *ее же*. Типологическое исследование морфологических структур в родственных языках. — В сб.: «Структурно-типологическое описание современных германских языков». М., 1966, стр. 5—20; *ее же*. Принципы типологического исследования родственных и неродственных языков. — В сб.: «Проблемы языкознания». М., 1967, стр. 203—207.

ного примера их осуществления можно привести материалы сборника «Структурно-типологическое описание современных германских языков»²⁰, некоторые разделы «Сравнительной грамматики германских языков»²¹ и «Сравнительно-сопоставительной грамматики романских языков»²², а также отдельные статьи²³.

Как справедливо отмечают авторы этих работ, одним из сложных и спорных вопросов является определение основания для типологических сопоставлений, хотя «для каждого типологического исследования основополагающим (разрядка наша. — Д. Н.) является установление принципа отбора констант, на основе которых реализуется типологическое сопоставление языков, а также определение основных единиц измерения при анализе каждого уровня»²⁴.

В связи с этим вопросом появляется необходимость, как говорит В. Н. Ярцева, в определении правильного соотношения между планом содержания и его грамматической формой, в установлении подхода «от содержания к форме» или «от формы к содержанию»²⁵. Указанная проблема особенно актуальна в тюркологии. Уже неоднократно отмечалось, что тюркским языкознанием накоплен огромный эмпирический материал, требующий теоретического осмысления²⁶. Следует также учитывать, что до последнего времени характер самих исследований в тюркологии отличается от того, что делается в других областях языкознания, в частности в германистике или славистике. Большинство тюркологических работ ориентировано преимущественно на описание означающих, причем часто без выяснения структурных отношений между грамматическими категориями, ими репрезентируемыми. Если исходить из предложенной В. Скаличкой процедуры, то можно сказать, что тюркологами проведено собирание и описание фактического материала (правда, с использованием самой различной методики, и с точки зрения типологии в основном нецеленаправленной), т. е. выполнена в какой-то мере работа лишь в рамках первой из трех первостепенных задач²⁷. Однако и этот накопленный материал позволяет уже перейти к следующим этапам типо-

²⁰ Сб. «Структурно-типологическое описание современных германских языков». М., 1966.

²¹ См.: «Сравнительная грамматика германских языков», т. I—IV. М., 1962—1966.

²² См.: «Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков», вып. I—III. М., 1964—1970.

²³ См., например: В. М. Никитевич. Об одном аспекте исследования деривационной системы субстантива. — «Вопросы языкознания», 1970, № 5; О. Г. Карпинская. Методы типологического описания славянских родовых систем. — В сб.: «Лингвистические исследования по общей и славянской типологии». М., 1966, стр. 75—116; Т. Н. Молошная. О морфологических средствах глагольной имперфективации в русском языке в сопоставлении с болгарским. — В сб.: «Структурная типология языков». М., 1966, стр. 144—164 и др.

²⁴ М. М. Гухман. О единицах сопоставительно-типологического анализа грамматических систем родственных языков. — В сб.: «Структурно-типологическое описание...», стр. 26; *её же*. Типологические исследования. — В сб.: «Теоретические проблемы советского языкознания». М., 1968, стр. 85—87.

²⁵ См.: В. Н. Ярцева. О задачах сравнительно-типологического изучения родственных языков, стр. 59.

²⁶ См.: Э. В. Севортян. Современное состояние и некоторые вопросы исторического изучения тюркских языков в СССР. — В сб.: «Вопросы методов изучения истории тюркских языков». Ашхабад, 1961, стр. 11—41; *её же*. Несколько замечаний к тюркологическим исследованиям по грамматике. — «Советская тюркология», 1970, № 3, стр. 3—16; С. Н. Иванов. Родословное древо тюрков Абу-л-Гази-хана. Грамматический очерк. Ташкент, 1969, стр. 3—26; Е. И. Убрятова. Задачи сравнительного изучения тюркских языков. — «Тюркологический сборник. 1970». М., 1970, стр. 69—79.

²⁷ См.: В. Скаличка. К вопросу о типологии, стр. 24—25.

логических исследований, т. е. к описанию структурных связей между языковыми явлениями и определению их количественной стороны²⁸.

В группе близкородственных языков такое исследование на уровне морфологии (фонологического уровня здесь мы вообще не касаемся), видимо, целесообразно начинать с уяснения тех значений или смыслов, которые передаются той или иной грамматической формой в каждом конкретном языке, т. е. идти «от формы к содержанию». Если подобным образом описать генетически общие формы в каждом из родственных языков, то в результате сходные означающие будут охарактеризованы через набор означаемых, свойственных только данному конкретному языку. Не будет удивительным, если ряд означаемых окажется общим для нескольких языков. Однако это вовсе не обязательно: в каком-то из языков у формы могут отсутствовать одни значения, и наоборот — присутствовать новые; кроме того, поскольку каждый из языков представляет собой специфическую систему, в их общей структуре удельный вес значений может не совпадать и т. п. Исследования подобного плана тоже перспективны; они позволяют лучше и глубже познать специфику функционирования грамматических категорий в отдельном языке²⁹. К сожалению, эти очевидные требования подробного анализа в тюркологии не всегда последовательно выполняются. Как совершенно справедливо указывает Е. И. Убрятова, «очень часто наши авторы исходят из своих наблюдений, сделанных на основе одного известного им языка, а выводы затем распространяют на все тюркские языки»³⁰, забывая о том, что «за материальной общностью тюркских языков скрываются значительные расхождения в использовании общих элементов в отдельных языках... Нередко одно и то же явление в разных тюркских языках оказывается как бы на разных уровнях развития, и поэтому сравнение всех данных по разным языкам оказывается очень важным для их понимания»³¹. Это замечание справедливо в равной мере как для описания современных языков, так и при изучении языка письменных памятников.

Если идти «от содержания к форме», то можно проследить, как реализуется то или иное значение в каждом языке, какой набор грамматических средств служит для его выражения. При этом бывает интересно, например, выяснить, каким способом передается отсутствующее в другом языке у данной формы значение, что позволяет обнаружить смещение у форм функций, понять развитие новых значений и т. п. В данном случае исследование будет «более типологическим», поскольку в основу сравнения кладутся выявленные ранее смысловые константы. При та-

²⁸ В. Скаличка. К вопросу о типологии, стр. 25—26. Необходимость системного описания тюркских языков и выявления их грамматических структур, независимо от целей типологии, в последнее время все более отчетливо осознается тюркологами. Между тем отставание в этой области, очевидно, затрудняет и сравнительно-историческое изучение тюркских языков. См., например: Э. В. Севортян. Современное состояние и некоторые вопросы..., стр. 18; его же. Несколько замечаний..., стр. 6; С. Н. Иванов. Родословное древо тюрков..., стр. 6; М. Ш. Рагимов. О принципах разработки сравнительно-исторической грамматики тюркских языков. — «Симпозиум по сравнительно-исторической грамматике...», стр. 8—9.

²⁹ См., например: Д. А. Монгуш. Формы прошедшего времени изъявительного наклонения в тувинском языке. Кызыл, 1963; Ю. Д. Джанмавов. Деепричастия в кумыкском литературном языке (сравнительно с другими тюркскими языками). М., 1967; С. А. Гочияева. Наречие в карачаево-балкарском языке (в сравнении с некоторыми языками кыпчакской группы). Автореф. канд. дисс. Баку, 1968; Б. Чарыяров. Времена глагола в тюркских языках юго-западной группы. Автореф. докт. дисс. Ашхабад, 1970; М. Т. Агламова. Способы выражения повелительности и желательности в тюркских языках. Автореф. канд. дисс. Ташкент, 1966 и др.

³⁰ Е. И. Убрятова. Задачи сравнительного изучения..., стр. 75.

³¹ Там же, стр. 71—72.

ком подходе будет явственнее проступать взаимодействие разных уровней языка — морфологического, синтаксического и лексического³².

Таким образом, в родственных языках при типологическом подходе приходится иметь дело как с формальными показателями, часто материально у этих языков совпадающими, так и со смыслами, обозначаемыми ими. Независимо от принятой единицы сравнения и установленной типологической константы, это сводится применительно к родственным тюркским языкам либо к выяснению особенностей смыслового наполнения сходных означающих, либо к определению круга означающих, служащих реализации сходных смысловых заданий (означаемых). То и другое будет способствовать уяснению и углубленному пониманию сущности каждой грамматической категории в исследуемом языке³³, без чего невозможен прогресс в сравнительно-историческом изучении тюркских языков.

Одним из возможных подходов к подобным операциям можно считать структурно-типологическое изучение частных подсистем или микросистем двух и более родственных языков, без прямого обращения к глобальным межъязыковым универсалиям или глоттогоническим константам. Оценивая этот путь, В. Н. Ярцева пишет: «...при типологическом анализе выгоднее всего сопоставлять не единичные факты, а «малые» системы, где отдельные явления языка связаны между собой... При сопоставительном анализе двух или нескольких языков нужно начинать со сравнения микросистем, соотносительных в этих языках... Расширение первоначально выделенной микросистемы происходит путем подключения новых элементов по признаку их коррелятивных, синонимических или транспозиционных связей с основным ядром данной микросистемы»³⁴. Представляется, что на современном уровне типологических исследований тюркских языков указанный путь является наиболее целесообразным и перспективным. При достаточном объеме проанализированных микросистем или подсистем в группе тюркских языков или во всей тюркской языковой семье выход за пределы этих языков и обращение к иносистемным языкам будет более продуктивным.

Так, например, при изучении конструкций изафета I и II типа в разных тюркских языках (этому вопросу посвятила ряд своих работ Н. З. Гаджиева³⁵) в случае указания на явление адъективации имени в I изафете можно привлечь факты, характерные и для других, иносистемных языков³⁶. Актуализация качественной стороны имени существительного в определительных сочетаниях, например, отмечается для русского языка В. В. Виноградовым, для ряда славянских — И. И. Ревзиным, для английского языка — А. И. Смирницким и О. С. Ахмановой, для немецкого — В. М. Павловым, для юкагирского — Г. Н. Куриловым, для староузбекского — С. Н. Ивановым³⁷. Обращение к такому типоло-

³² См.: В. Н. Ярцева. Типологическое исследование морфологических структур в родственных языках, стр. 6—8.

³³ Ср.: В. М. Никитевич. Об одном аспекте исследования деривационной системы субстантива. — «Вопросы языкознания», 1970, № 5, стр. 57—58; Б. М. Балин. Немецкий аспектологический контекст в сопоставлении с английским. Калинин, 1969, стр. 14—18.

³⁴ В. Н. Ярцева. Принципы типологического исследования..., стр. 205. Ср.: В. М. Никитевич. Об одном аспекте исследования..., стр. 52.

³⁵ См.: Н. З. Гаджиева. Основные пути развития синтаксической структуры тюркских языков; *ее же*. О методах сравнительно-исторического анализа синтаксиса; *ее же*. Природа изафета в тюркских языках. — «Советская тюркология», 1970, № 2, стр. 18—26.

³⁶ См.: Н. З. Гаджиева. Природа изафета..., стр. 19.

³⁷ См.: В. Г. Гузев, Д. М. Насилов. Конкретно-предметные значения тюркского имени существительного как зона релевантности категорий числа и определенности — неопределенности. — «Советская тюркология» (в печати).

гическому сопоставлению позволяет глубже понять особенности первого члена тюркского изафета, в частности характер проявления у него категорий числа и склонения, поскольку при отходе на задний план значения «предметности» имени у последнего категории числа и склонения оказываются иррелевантными или нейтрализованными³⁸.

Что касается выбора единиц или констант типологического сопоставления тюркских языков, то это требует специального рассмотрения. По всей вероятности, данная проблема соотносится с общей проблемой их определения для группы родственных языков. Сама же методика типологических исследований позволяет выработать единый инвентарь констант для определенного этапа исследований. Если для тюркологов возникнет в этом необходимость, то можно будет созвать специальный симпозиум или координационное совещание, посвященные этому вопросу, подобно проведенным германистами или романистами Института языкознания АН СССР³⁹. Тем более, что начало этому было положено организацией весной 1970 г. в Алма-Ате симпозиума по применению новейших методов в исследовании тюркских языков⁴⁰.

При типологическом изучении тюркских языков могут быть использованы, например, принципы, положенные в основу исследований, проводимых группой структурно-типологических исследований при ЛО ИЯ АН СССР, которую возглавляет А. А. Холодович. Конкретные результаты этой работы представлены в сборнике «Типология каузативных конструкций»⁴¹, в котором помещена статья и о чувашском каузативе⁴². По предложенной здесь авторами методике могут быть проанализированы каузативные формы и в других тюркских языках⁴³. Сейчас группа работает над единообразным описанием пассивных конструкций в различных языках⁴⁴.

Отправными для такого описания являются, в частности, понятия о деривационных преобразованиях предложений, в результате которых производные предложения и по своему грамматическому (формальному) статусу и по смыслу закономерно отличаются от исходных предложений⁴⁵. Если руководствоваться определением конструкций пассивного залога, предложенным В. С. Храковским⁴⁶, то можно описать все пассивные или страдательные конструкции с формальным показателем -I, (-n),

³⁸ См.: А. И. Смирницкий. Морфология английского языка. М., 1959, стр. 110—123; А. Мартине. Нейтрализация и синкретизм. — «Вопросы языкознания», 1969, № 2, стр. 96—109.

³⁹ См.: Координационное совещание по сравнительному и типологическому изучению романских языков. Тезисы докладов и сообщений. Л., 1964; «Вопросы языкознания», 1970, № 4, стр. 163—165.

⁴⁰ См.: Статистическое и информационное изучение тюркских языков. Тезисы докладов и сообщений. Алма-Ата, 1968; К. Б. Бектаев, Г. В. Ермоленко. Всесоюзный семинар по вопросам статистического и информационного изучения тюркских языков. — «Советская тюркология», 1970, № 3, стр. 135—137.

⁴¹ Типология каузативных конструкций. Морфологический каузатив. Л., 1969.

⁴² Г. Е. Корнилов, А. А. Холодович, В. С. Храковский. Каузативы в чувашском языке. — Там же, стр. 238—259.

⁴³ См.: Д. М. Насилов, В. С. Храковский. Применение принципа деривации к описанию синтаксических структур предложения в тюркских языках. — «Советская тюркология», 1970, № 5, стр. 25—35.

⁴⁴ См.: Категория залога. Материалы конференции. Л., 1970.

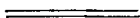
⁴⁵ См.: V. S. Khrakovski. Some theoretical Problems of syntactic Typology. — В сб.: «Theoretical Problems of Typology and the Northern Eurasian Languages». Budapest, 1970, стр. 75—92.

⁴⁶ В. С. Храковский. Конструкции пассивного залога (определение и исчисление). — В сб.: «Категория залога...», стр. 27—41.

скажем, в современном узбекском языке, как закономерные дериваты исходной структуры основного залога. Предложения типа *roʻtga kanda j boriladi?* 'как пройти на почту?' являются пассивными дериватами одноактантных структур основного залога. Дериватами двухактантных структур будут предложения типа *poliz suʻorildi* 'огород полит', *poliz kolhozçi tmonidan suʻorildi* 'огород полит колхозником', а также *polizni suʻorildi* 'полили огород'. Интересно отметить, что пассивную конструкцию с винительным объекта, которая вызывает споры среди тюркологов⁴⁷, можно представить в этой системе как закономерный дериват с невыраженным субъектом состояния. Аналогично этому могут быть рассмотрены и преобразования трехактантных синтаксических структур. Если по этой методике описать пассивные преобразования в различных тюркских языках, то можно будет увидеть то общее, что их объединяет в последних, и выявить специфику в каждом из них.

Можно также показать целесообразность, с нашей точки зрения, типологического изучения в тюркских языках структуры выражения способов глагольного действия, причем здесь можно обратиться и к другим алтайским языкам⁴⁸.

Рамки данной статьи не позволяют остановиться на других возможных единицах сравнения, которые могут привлекаться для структурно-типологических исследований тюркских языков. В заключение следует еще раз отметить, что такие исследования будут способствовать углубленному пониманию структуры этих языков и специфики функционирования в них конкретных грамматических категорий.



⁴⁷ См.: М. М. Муждабаев. Безлично-страдательные предложения в современном узбекском языке. Ташкент, 1960, стр. 23—33.

⁴⁸ См.: Д. М. Насилов. О способах выражения видовых значений в алтайских языках. — В сб.: «Проблема общности алтайских языков». Л., 1971, стр. 366—376 (в печати).

В. И. АСЛАНОВ

К ПРОБЛЕМЕ РЕКОНСТРУКЦИИ КОРНЕВЫХ МОРФЕМ

(НА МАТЕРИАЛЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ЯЗЫКА)

Историческая лексикология азербайджанского языка призвана изучать лексическую систему этого языка с эпохи обособления его от других тюркских языков.

Н. С. Трубецкой, утверждая, что индоевропейские языки возникли в процессе гипертрофии флексии, стремясь к рациональной агглютинации как к идеалу, отдает явное предпочтение принципу агглютинации. При этом им особо отмечается стойкость звукового облика корня в агглютинирующих языках, тогда как в индоевропейских языках корень слова не имел устойчивого фонетического состава, изменяясь на протяжении веков до неузнаваемости. Поэтому установление первоначального корня в индоевропейских языках сопряжено с большими трудностями. Морфологическая же структура тюркского слова значительно более прозрачна и потому легче поддается фonomорфологическому анализу. «Следует признать, — пишет Н. С. Трубецкой, — что чисто агглютинирующие языки алтайского типа с небольшим инвентарем экономно использованных фонем, с неизменяющимися корнями, отчетливо выделяющимися благодаря своему обязательному положению в начале слова (курсив наш. — А. В.) и с отчетливо присоединяемыми друг к другу всегда вполне однозначными суффиксами и окончаниями представляют из себя технически гораздо более совершенное орудие, чем флектирующие языки...»¹ Именно этим объясняется то обстоятельство, что ряд в основном односложных слов, встречающихся почти во всех живых и мертвых тюркских языках, можно квалифицировать с точки зрения прототюркского языкового статуса. К таковым можно было бы отнести *av* 'охота', *az* 'мало', *al* 'красный', *al* 'хитрость', *baš* 'голова' и т. п.

Если даже тот или иной корень слова не только не сохранился в современных тюркских языках, но и не зафиксирован в известных науке письменных памятниках, то опыт показывает, что, опираясь на материал даже одного какого-либо языка (в данном случае азербайджанского), можно его установить посредством лингвистического анализа. Разумеется, при этом отнюдь не исключается необходимость привлечения также данных других родственных языков и письменных памятников.

Методика внутренней реконструкции корневых морфем праязыкового состояния на основе данных одного языка не нова, и она, на наш взгляд, весьма удачно применена А. Иоуханнесоном в его «Этимологи-

¹ Н. С. Трубецкой. Мысли об индоевропейской проблеме. — «Вопросы языкознания», 1956, № 1, стр. 77.

ческом словаре исландского языка», в котором автор идет от исландского к индоевропейскому языку-основе, причем количество исландско-индоевропейских лексических корреспонденций составляет в словаре около 1000 лексических единиц². Ю. Р. Курилович в своем монографическом исследовании индоевропейского ударения для восстановления праязыковой системы предлагает метод реконструкции праязыкового состояния на основании архаичных явлений, наблюдаемых в системе одного какого-нибудь индоевропейского языка. В. В. Иванов отмечает, что «этот метод может дать ценные результаты при условии, если его применению предшествует строго проведенное доказательство того, что явления, на которые опирается реконструкция, не являются новообразованиями данного языка»³.

Мы, конечно, не можем категорически утверждать, что все реконструируемые ниже лексемы реально существовали в староазербайджанском или другом языке юго-западного ареала в эпоху их обособления от остальных тюркских языков. Отсутствие той или иной лексемы в письменных источниках еще не доказывает, что ее вообще не существовало в языке. Древнеписьменные источники, сколько бы их не сохранилось, не могут отразить все богатство словарного состава языка.

Мы присоединяемся к мнению тех тюркологов, которые считают, что в пратюркском языке отсутствовали структурные типы дву- и многосложного корня, а также односложного корня с исходом *согласный+сонант* или наоборот. Такие основы нужно рассматривать как слияние трехбуквенных или двубуквенных с одним согласным на исходе корня с соответствующими аффиксами. При этом следует иметь в виду то, что если в таких основах последний согласный корня является сонорным, то аффиксальный элемент должен быть смычным. Это обстоятельство, по-видимому, создало объективные условия для сочетания двух согласных в пределах одного и того же слога, что исключается фонетической и грамматической структурой тюркских языков.

Следует отметить, что, по мнению ряда тюркологов, в пратюркском языке были известны следующие основные структурные типы корнеслова: V, C+V, V+C, C+V+C. Это, разумеется, отнюдь не означает, что все односложные исконно тюркские слова, встречающиеся на современном этапе развития отдельных тюркских языков, являются рудиментами древнейшего корнеслова, сохранившимися без более или менее существенного фонетического изменения. Исторический подход к изучению структурных типов корней и основ слов позволяет утверждать, например, что слова *jaṇ-* 'гореть' и *jaḡ-||jaḡ-* 'сжечь' вовсе не являются корневыми. В тюркских языках можно обнаружить сотни односложных слов, которые диахронически должны рассматриваться как производные.

Перейдем непосредственно к реконструкции корневых морфем:

1. Если то или иное слово имеет синонимы или антонимы, то, установив корневую морфему одного из синонимичных или антонимичных слов, можно определить на основе аналогии и архетипы остальных слов, если даже они не засвидетельствованы в письменных памятниках.

² A. Johannesson. *Isländisches etymologisches Wörterbuch*. Bern, 1956. См. также: Э. А. Макаев. Структура слова в индоевропейских и германских языках. М., 1970, стр. 52—55.

³ В. В. Иванов. О методах изучения истории индоевропейского праязыка и его диалектов. — «Тезисы докладов на открытом расширенном заседании ученого совета, посвященном дискуссии о соотношении синхронного анализа и исторического исследования языка». М., 1967, стр. 30.

Так, слово *doğu* 'правильный', 'верный', 'прямой' является антонимом имени прилагательного *ājri||āg'ri* 'кривой', 'неверный'. Производность последнего от глагола *āg'* - 'гнуть' не вызывает никаких сомнений даже при синхронном анализе. А коль скоро это так, то можно считать, что основой имени прилагательного *doğu* является *doğ-*, ибо эти слова содержат одну и ту же аффиксальную морфему. Следовательно, если *āg'* имеет значение «гнуть», «сгибать», то *doğ-* мог, по-видимому, выражать соответствующее антонимичное значение «выпрямлять». Слова *doğ-* нет не только в современном азербайджанском языке, но оно не обнаружено и в письменных памятниках. В казахском диалекте азербайджанского языка нередко употребляется предикативное сочетание *toj dōj* со значением «(это) неправильно», «(это) неверно». Слово *toj* в казахском, *tav* в ряде других диалектов является, на наш взгляд, рудиментом древнего глагола-имени **tav* 'правильный', 'прямой', 'выпрямлять'. В письменном памятнике азербайджанского языка «Шухаденаме» (XVI в.) дважды встречается слово *tav* со значением «верный», «правильный».

Имя прилагательное *joxiṣ* 'подъем', которое, несомненно, относится к разряду производных имен, образующихся с помощью четырехвариантного аффикса *-uṣ*, является антонимом слова *epiṣ* 'спуск'. Следовательно, и основы этих слов должны иметь антонимичные значения, т. е. *ep-||ān-* 'спускаться' и **joγ-||jog-* 'подниматься'. Хотя первый из этих глаголов употребляется в современном азербайджанском языке, второй не встречается даже в письменных памятниках. Тем не менее наличие производного *jük'āl-* 'подниматься', 'возвышаться' в «Книге моего деда Коркута», именного сочетания *jog jēg* 'возвышенная местность', глагола *jokla-* 'воздвигать' в «Диване» Махмуда Кашгари и «Кутадгу билиг» указывают на то, что синкретический корень **joγ-* или **jüg'* некогда был широко употребителен в языке. К этому же корнеслову восходят *juxaγu* < *jok-γaγi* 'наверх' и *jük'sāl-* 'подниматься', 'возвышаться'.

Аналогичным образом следует рассматривать также те слова, один из компонентов которых на современном этапе развития языка вышел из употребления. Компоненты парных слов данного типа, будучи синонимичными и нередко имея различное морфологическое оформление, восходят к одному и тому же корнеслову. К подобным парным словам мы относим сочетания типа *jogun-aryun* 'уставший', 'изнуренный', *gat-garyuṣyk||gatma-garyṣ* 'хаотический', 'в беспорядке', *dür-düjün* 'спутанные узелки', *pārtmä-nazik* 'изнеженный', 'грациозный', *bār-bāzāk* 'разнообразные украшения' и т. п.

Что касается *gat-garyuṣyk* и *gatma-garyṣ*, то о них можно сказать следующее: *gatma* и *garyṣ* являются отглагольными именами, производными от глагольных основ *gat-* 'смешивать' (первый компонент), *gar-* (второй компонент) с тем же значением. Как *gat-*, так и *gar-* выступают в форме каузатива, корень которых восходит к **ga-*. То же можно сказать о парном *gatma-garyṣ*.

Парное слово *dür-düjün* 'спутанные узелки' образовалось от *dür* и *düjün*. Эти компоненты синонимичны: второй из них является производным от глагола *düg'* - 'свернуть в узел', самостоятельно употребляемым и в современном азербайджанском языке. Можно предположить, что и первый компонент является производным именем с тем же значением от того же глагола. От данной глагольной основы в современном азербайджанском языке произошли еще *düjtmä* 'пуговица', *duk'zä* 'моток'. Но *düg* как имя со значением «узел» не встречается ни в современном азербайджанском языке, ни в письменных памятниках. Однако данное слово является основой отглагольного имени *dürmäk* 'бутерброд'. Глагол *tür-*

со значением «сворачивать», «свертывать» употреблен в «Диване» Махмуда Кашгари и в «Кутадгу билиг». Можно предположить, что первоначальным корнем анализируемых слов был *tū-.

Компоненты парного слова būg-būk'- также являются синонимичными, то есть глаголы būg- и būk'- имеют одно и то же значение «свернуть». По-видимому, эти глаголы восходят к корнеслову *bu-||*bū-||*bi-. В результате фonomорфологической и лексико-семантической эволюции гласный корня в одних словах развивается в *u*, в других словах в *ü*, в третьих — в *i*. Ср. būgüş- 'сморщиться', bug- 'сверлить', 'свернуть' и производное bigšäk' 'кудри' (ср. также диалект. būgšak').

В парном слове pägmä-pazik' 'грациозный', 'изнеженный' компоненты также синонимичны. Ср. у Вагифа (XVIII в.):

K'üllü Karabayın abi — häjatı,
Närmä-nazik' bajatydyr bajaty.

'Вода и воздух всего Карабаха —
Это тонкие и нежные песни-баяты'.

Первый компонент данного парного слова в современном азербайджанском языке самостоятельно не употребляется, второй же является производным от глагола pāz-, ибо медио-пассив pāzil- 'становиться тонким' позволяет предположить, что имя прилагательное pazik' восходит также к основе pāz-. Затем слово pāzik' заимствуется в персидский язык и через некоторое время — обратно в азербайджанский, но уже с нарушением сингармонизма, то есть не в форме pāzik', а в форме pazik'. Вероятно, первый компонент рассматриваемого прилагательного является производным отглагольным именем на -mä, так же как и первые компоненты парных слов dālmä-deşik', qatma-qayşuk и т. п. Следовательно, как pāg-, так и pāz- восходят к одному и тому же корню *pā-.

В парном darma-daıun 'полный разгром' компоненты состоят из darma и daıun. Хотя эти слова в современном азербайджанском языке самостоятельно не употребляются, но, судя по морфологическому признаку, они являются производными от синонимичных однокорневых глаголов tag- и taı-. От основы taı- в современном азербайджанском языке мы имеем daıut- 'рассеивать', 'разгромить' и daıul- 'рассеиваться'; от данной же основы образовано имя прилагательное taıux- у Бурханеддина (XIV в.) и Кишвери (XV в.). Наличие в современном азербайджанском литературном языке производного имени прилагательного daıunuk 'рассеянный', 'разбросанный' позволяет утверждать, что некогда в языке был употребителен и глагол taıun- в форме возвратного залога. Что же касается основы tag-, то мы встречаем ее в «Диване» Махмуда Кашгари со значением «распускать», «разгонять». Следовательно, корневая морфема рассматриваемых глаголов должна была иметь форму *ta- или *taı-.

2. Если начальная, то есть корневая морфема ряда семантически родственных слов идентична и путем фonomорфологического анализа устанавливается производность этих слов, то опять-таки по аналогии можно реконструировать и их архетипы.

В современном азербайджанском языке слово uıun является производным от глагола uı- 'соответствовать', который в данном значении употребляется весьма редко. С другой же стороны, глагол uz-laş- 'согласовываться', несомненно, является производным и образован от основы uz с помощью аффикса -laş и, по-видимому, имеет значение «соответствующий». Слово uz- со значением «следовать» в памятниках древнетюрк-

ской письменности имеет варианты *uz-*, *ud-*, *uđ-* и *uj-*. Следовательно, можно предположить теоретико-множественное понимание соответствующей пратюркской морфемы *uz-*, *ud-*, *uđ-* и *uj-*, которая по мере развития эволюционирует и реализует не только свое лексическое значение, но и фонетическую структуру.

Это же можно сказать о группе глаголов, которые в современном азербайджанском литературном языке употребляются лишь с аффиксом понудительного и возвратного залогов и от той же основы образуют имя прилагательное (реже имя существительное) с помощью двухвариантного аффикса *-ak*. Ср.: *uzap-* 'лежать', 'продолжаться', *izat-* 'протягивать', 'продолжать', 'тянуть' и имя прилагательное *uzak* 'долгий', 'далекый', 'длинный'. Нам кажется, что и морфема *-a-* в составе глагола *uza-*, который встречается в «Кутадгу билиг», является вторичной и корнем всех рассматриваемых слов является **uz-*, ибо от данного корня происходит еще имя прилагательное *uzup* 'длинный'.

В современном азербайджанском языке глаголы *oĵat-* 'разбудить', *oĵap-* 'просыпаться' и имя прилагательное *oĵak* 'бодрствующий', несомненно, являются производными от *oĵ-*. Однако данный корень в «Диване» Махмуда Кашгари употребляется в форме **uđ-*, к которому восходит также глагол *uđu-* 'спать'. Тем не менее наличие глаголов *uđuig-* и *uđuag-* в древнетюркских письменных памятниках позволяет заключить, что здесь корневая морфема не *uđu-*, а **uđ-*.

В азербайджанском языке широко употребляются глагол *ajyl-* 'протрезвиться', 'пробудиться' и имя прилагательное *ajuk* «трезвый», «здравый». Глаголы *adup-* 'протрезвиться', *adut-* 'отрезветь' и имя прилагательное *aduŋ* 'трезвый' в ряде общетюркских памятников позволяют прийти к заключению, что первоначальным корнем данных слов было слово **ad-*.

В современном азербайджанском языке имеется имя существительное *gajŋu* 'забота'. Нет сомнения, что *-ŋu* в составе данного слова является аффиксом, образующим имена от глагольных основ. Следовательно, *gaj-* должен быть квалифицирован как глагол-основа. В письменных памятниках азербайджанского языка весьма часто встречается глагол *gajug-* со значением «горевать», который в письменных источниках других тюркских языков имеет фонетические варианты *gađur-* || *gađuŋ-* || *gajŋur-*. Отсюда можно заключить, что *gađ* — является корнесловом, незафиксированным в письменных памятниках.

Глаголы *gajtar-* 'вернуть', 'возвращать', *gajyt-* 'вернуться', 'возвращаться' являются производными от *gaj-*. Помимо этих глаголов в ряде диалектов имеется и глагол *gangug-* 'повернуть назад (в основном голову)'. В составе данного глагола *ng*, на наш взгляд, является результатом слияния *n* основы и *g* аффикса. Следовательно, глагол *gangug-* восходит к основе *gaŋ-* и аффиксу каузатива *-ug-*. (Ср. также *gantarŋa* || *gajtarŋa* 'уздечка'). Помимо того в ряде памятников других тюркских языков мы обнаруживаем слово *gajra* со значением «снова», «опять», которое также состоит из основы *gaj* и аффикса направительного падежа *-ra*. Исходя из сказанного выше, можно заключить, что корневой морфемой анализируемых слов является **ga(j)*, встречающаяся во многих общетюркских памятниках.

Слово *k'irpik'* в современном азербайджанском языке имеет значение «ресница». Данные письменных памятников и сравнение с турецким языком позволяют утверждать, что звукосочетание *-gr-* в азербайджанском языке в интервокальной позиции является чаще всего результатом метатезы *-rg-*. Ср.: *torpak* → *toprak*, *jarpak* → *jarpak*, *k'örpü* → *k'örpü* и т. п.

Следовательно, можно заключить, что и k'irpik' восходит к k'irpik'. Не следует смущаться тем, что в «Диване» Махмуда Кашгари рассматриваемое слово употребляется в форме k'irpik'⁴. Не все слова даже в памятниках рунического письма должны расцениваться как репрезентанты древнейших фонетических форм слов. Ведь язык всегда находится в процессе изменения. Следовательно, многие фонетические законы проявлялись в тюркских языках еще в древнейшие времена. Нам могут возразить, что, мол, имеется еще глагол кург — 'моргать (глазами)'. Ведь и этот глагол может восходить к кур(γ)уг, где кур — 'мигать' сохранился до наших дней. Может даже глагол кур- наряду с глаголами kus- 'жать', 'прижимать', 'прищурить (глаза)', kuj- 'косить (глазами)' восходят к корню *ку-. Следует иметь в виду то обстоятельство, что в «Книге моего деда Коркута» значение «ресница» передается словом карак, которое является производным от глагола кар(γа)- 'закрывать'. Это наталкивает на мысль об идентичности корня глаголов кур-, kus-, kuj-, карγа- и имени k'ir 'сомкнутый', который можно представить в форме *ky-||*ka-.

Глаголы dāi- и deš- в современном азербайджанском языке являются синонимичными и имеют значение «просверлить», «продырявить». -i- и -š- в составе данных глаголов относятся к аффиксальной морфеме. Мы имеем и слово dāmāk' 'дыра', которое употреблялось еще в эпоху Бурханеддина:

Jüräg'ümi dām gylupdur läblärüng,
Illa k'i, dök'ilmäg'ä bulimāz dāmāk'.

'Губы твои окровавили мое сердце,
К сожалению, нет *отверстия* просочиться (крови)'.
Следовательно, первичным корнем данных слов могло быть *tä-.

Глагол bat- является переходным со значением «погружаться». В «Диване» Бурханеддина мы встречаем глагол бап- с переходным значением «погружать»:

Sān sāk'ārsin, sōjlā k'i, varsyn, nola,
Gār sākārhanājā barmax *banaruz*.

'Ты сладость такая, какая ты есть; что случится,
Если мы *погрузим* палец в хранилище сладости'.

У Насими глагол бап- употребляется и с аффиксом понудительного залога:

Ganuma, g'āl *bandur* āling, ej nig'ar...

'О любимая, иди *погрузи* руку свою в кровь мою'.

У Вагифа глагол bat- составляет парное сочетание вместе с глаголом багуп-, т. е. bat-багуп- 'быть погруженным', 'погружаться'. Судя по всему, глагол багуп- является формой возвратного залога от глагольной основы баг-. Лексико-семантическое и фономорфологическое сходство глаголов bat-, баг-, бап- позволяют заключить, что первоначальным корнем этих слов является *ba-.

Глагол тоу- (в современном азербайджанском языке — доу-) имеет значение «родить», «родиться». Начальная морфема слов tōgā- 'производить', 'создавать', 'производиться', 'создаваться', tōlāk' 'продолжитель-

⁴ В ряде позднейших письменных памятников встречается и вариант k'irpik'.

ница рода' («Книга моего деда Коркута»), *döl* 'момент или процесс родов', *toḡup* 'внук||внучка' (в турецком), *toḡup* 'сперма' и их лексико-семантическая близость позволяют прийти к выводу о том, что первичный корень данных слов имел, по-видимому, форму **lo-* со значением «создаваться», «создавать».

3. В современном азербайджанском языке имеются слова, содержащие одни и те же конечные морфемы, то есть являющиеся производными, образованными с помощью одних и тех же аффиксальных элементов. На современном этапе развития языка одни слова можно считать состоящими из основ и присоединённых к ним аффиксов, другие — после отделения от них аффиксов — предстанут асемантическими сочетаниями звуков. Если такие основы неразложимы, то их следует квалифицировать как корневые морфемы.

Возьмем к примеру слово *tumizuk* 'почка'. -*zuk* в составе данного слова является аффиксом диминутива, который можно встретить в составе многих слов. Следовательно, основой данного слова является *tu-^vizuk*, которая, несомненно, должна была иметь форму *tumizi*. Данная основа связана с *jumzi* 'круглый', 'шарообразный'. Это имя прилагательное также является производным от *jum-* 'скатывать в шарики'. Кстати, к данной же основе восходит и слово *jumak* 'моток', которое представляет результат лексико-семантического сдвига и фоморфологического развития слова *jumak* 'круглый'. Нам кажется, что гласный *i* в составе *jum-* является рефлексом вторичной долготы: *jum-* < *juvim-*, где -*im* относится к аффиксальной морфеме, а *juv-* к корневой со значением «скатывать». Наличие в древних письменных источниках производного и синонимичного корня *juv-* глагола *jumakla-* свидетельствует о том, что корень *juv-* архаизировался очень рано⁵. Следовательно, корнем слова *tumizuk* также должен был бы быть **juv-*.

Слово *gajum* 'твёрдый', 'крепкий' употребляется в ряде диалектов азербайджанского языка и в его письменных памятниках. Как и во многих других производных от глагола имен -*um* в составе *gajum* является словообразующим аффиксом. Следовательно, корнеслово в данном случае должно быть либо **ga-*, либо **gaj-* со значением «твёрдеть», «становиться твёрдым», «делать твёрдым». Справедливость этого предположения подтверждается еще и тем, что и глагол *gat-*, имя *gajsak* 'корка' и турецкое прилагательное *kart* 'твёрдый' также восходят к корневой морфеме **ga-*.

Четырехвариантный аффикс -*uṣ* образует имя существительное от глагольных основ. Если это так, то почему же мы не можем квалифицировать имя *iṣ* 'работа', 'дело' производным от глагола **i-*, который в эпоху недифференцированности категории переходности-непереходности мог, по-видимому, иметь значение «делать», «становиться». Не исключена возможность, что и глагол *et-* 'делать' также восходит к этому корню.

Аффикс -*yt||-it||-ut||-üt* встречается в составе ряда производных слов: *k'eṣit*, *jüklät*, *bulut*, *govut* и т. п. Как слово *k'eṣit* восходит к глаголу *keṣ-* 'проходить', так и слово *govut* 'поджаренная мука' восходит к глаголу

⁵ В тюркских языках имеются десятки глаголов, которые могут быть квалифицированы как однокорневые синонимы, типа *juv-* → *jumakla-*. Ср.: *ba-* 'связывать' → *bay* 'узел' → *bayla-* 'связывать'; *guz-* 'обнимать' → *guzak* 'объятие' → *guzakla-* 'обнимать'; *jed-* 'вести на поводу' → *jedäk* 'повод' → *jedäk-lä-* 'вести на поводу'; *daga-* 'расчесывать' → *darak* 'расческа' → *darakla-* 'расчесывать' и т. п.

gov- 'жарить'. Хотя и данный корень не зафиксирован в письменных памятниках, наличие глагола govug- 'жарить' дает основание утверждать, что корневая морфема *gav- со значением «жарить» была когда-то употребительной.

Попутно отметим, что если заниматься реконструкцией корневых морфем всех находящихся в употреблении слов хотя бы одного конкретного языка, то окажется, что корневые морфемы многих лексико-семантически неродственных слов совпадают и кажутся омонимичными. Иначе и не может быть, ибо, по замечанию Ст. Ульмана, чем короче слово, тем скорее оно может совпасть с другим словом. Отсюда следует, что чем больше в языке односложных или других коротких слов, тем больше в нем будет омонимов. Такие омонимы мы называем «мнимыми» омонимами, ибо до тех пор, пока не исследована проблема акцентуации и тона в структуре корнеслога в исторической фонетике, трудно сказать что-нибудь конкретное об омонимии корневых морфем, скажем, таких слов, как gajju 'забота', gajug- 'делать', gajuk 'лодка', gat 'слой', gat- 'смешивать', gajut- 'возвращаться', govut 'поджаренная мука', gajna- 'кипеть', gax- 'ударить', gax 'сухой' и мн. др.

4. Мы склонны придерживаться той точки зрения, что пратюркское корнеслово было в основном односложным. С другой же стороны, мы беремся утверждать, что наличие гласных среднего подъема *o*, *ö*, *e* в аффиксальных морфемах исключается. Кстати, этот закон, не знающий никаких исключений в азербайджанском литературном языке, в его письменных источниках и в общетюркских памятниках, не распространяется на некоторые диалекты азербайджанского языка и ряд других тюркских литературных языков.

Если мы приходим к заключению, что пратюркский корень был односложным и что ни в письменных памятниках, ни в современном азербайджанском литературном языке гласные среднего подъема в аффиксальной морфеме не встречаются, то все дву- и многосложные слова, которые содержат один из этих гласных не в первом слоге, должны считаться вторичными образованиями. К таковым в современном азербайджанском языке следует отнести слова типа *alov*, *buxov*, *bülöv*, *k'ösöv*, *oxlov*, *bizov*, *гугов*, *garov*, *gašov*, *bütöv*, *ög'ej*, *g'ünej*, *guzej*, *ärk'öjün* и тому подобные, которые имеют на исходе *-ov||öü*, *-ej*, *-öjün*.

Попытаемся реконструировать корневую морфему ряда таких слов.

Слово *alov/alav* — (в турецком) восходит к *al*- 'воспламеняться' и, по-видимому, относится к тому же корню, что и глаголы *jan*- 'гореть', *jak*- 'сжигать'. Как в глаголе *alyš*- 'воспламеняться', так и в имени *alov* начальный *j* редуцировался, что представляет весьма частое фонетическое явление в азербайджанском языке (ср. еще слово *jalup* 'пламя').

Аффикс *-öv* в составе *bülöv* 'точильный камень' восходит к сложному аффиксу *-aγu||-äg'ü*, как и в составе ряда других слов. Глагол *bilä*- 'точить', 'делать острым', в свою очередь, должен быть расценен как производный, по-видимому, от корня *bi*-. От него же происходит глагол *bič*- 'резать', 'косить' и *biz*- 'просверлить', а также имя *biz* 'шило'. Приведем один пример на *biz*- в значении «просверлить», «долбить»:

Biz biz idik', jüz gyz idik',

Bizi bizdilär, sapa dizdilär.

В приведенной народной загадке на «бусы» данный курсивом глагол *bizdilär* переводится на русский язык как «просверлили».

Одно слово с конечным -ов в современном азербайджанском языке превратилось в аффикс. Мы имеем в виду аффикс -sov со значением «подобный», «похожий», который присоединяется к именам прилагательным *uzun* 'длинный', *uzunsov* 'длинноватый', *däli* 'сумасшедший', *dälisov* 'глуповатый'. Имена прилагательные с цветовым обозначением перед -sov принимают еще аффикс -um||-im||-um||-üm: *ağumsov* 'беловатый', *g'öjümsov* 'голубоватый', *bozumsov* 'сероватый' (ср. также: *k'ök* 'корень' → *kökümsov* 'корневище'). По аналогии с другими словами с -ov в аушлауте можно установить первоначальную форму -sov как *savaçu||sajaçu*. Можно предположить, что слово *sajaçu* современного азербайджанского языка восходит к слову *savaçu*, ибо оно имеет то же значение, что и аффикс -sov и употребляется в тех же условиях, что и последний. Ср.: *bajram-sajaçu* 'по праздничному', *aşuksajaçu* 'на ашугский лад'. Рассматриваемому слову-аффиксу в памятниках древнетюркской письменности соответствует аффикс -syū. Ср. *oğlansyū* 'подобный ребенку', а в якутском языке данный аффикс выступает в форме -soyus. Ср. *kylgahyar* 'короткий', *kylgassoyus* 'коротковатый'. Отсюда можно предположить, что слово-аффикс *sajaçu||-sov* восходит к *sy-||*sa-⁶.

В заключение отметим, что все приведенные примеры имели целью лишь проиллюстрировать четыре тесно связанных друг с другом приема реконструкции, о которых говорилось выше.

⁶ Имеется и синонимичный аффикс того же корня с тем же значением, что и -sov — это аффикс -syl. Но вряд ли можно согласиться с В. Бангом, когда он слова *jasył*, *gyzył* возводит к *jassyl*, *gyzsyl* (См. W. Bang. Ural-Altaische Jahrbücher, IX, s. 22).

Т. М. ГАРИПОВ

ПОНЯТИЕ ОБЩЕТЮРКСКОГО ЯЗЫКОВОГО СОСТОЯНИЯ И ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КЫПЧАКСКИХ ЯЗЫКОВ УРАЛО-ПОВОЛЖЬЯ

Под общетюркским языковым состоянием мы понимаем такую совокупность лингвистических фактов, которые либо в той или иной мере сохранились в большинстве современных тюркских языков, либо же дошли до нас в составе памятников древней письменности.

Однако место и, особенно, состав условного общетюркского языка-источника, кажется, еще далеки от однозначных дефиниций. Действительно, если обратиться к литературе вопроса, обнаружится по крайней мере несколько подчас далеко отстоящих друг от друга позиций, каждая из которых стремится иметь свой «*raison d'être*».

Определение места общетюркского состояния чаще всего затрудняется своеобразным положением болгарской ветви языков. По-видимому, уже сыграла свою роль в истории науки теза, располагавшая эту ветвь и ее единственного современного репрезентанта — чувашский язык — между тюркской и монгольской языковыми семьями (см. рис. 1)¹.



Рис. 1

Вероятно, наибольшую популярность получила схема, представленная на рис. 2, хотя она и выглядит несколько прямолинейной².

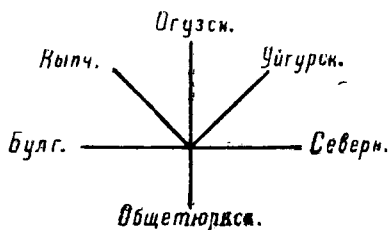


Рис. 2

¹ Ср.: В. А. Богородицкий. Введение в татарское языкознание в связи с другими тюркскими языками. Казань, 1934, стр. 16.

² См., например, J. Benzing. Classification of Turkic languages. — In: Philologia Turcicae Fundamenta. Wiesbaden, 1959, I, стр. 1—5.

Более поздние воззрения объединяют общетюркский и болгарский под новым обозначением «пратюркский» (в терминах Н. Н. Поппе — «чувашско-тюркский»), который можно толковать, между прочим, и как «дотюркский»³ (см. рис. 3).

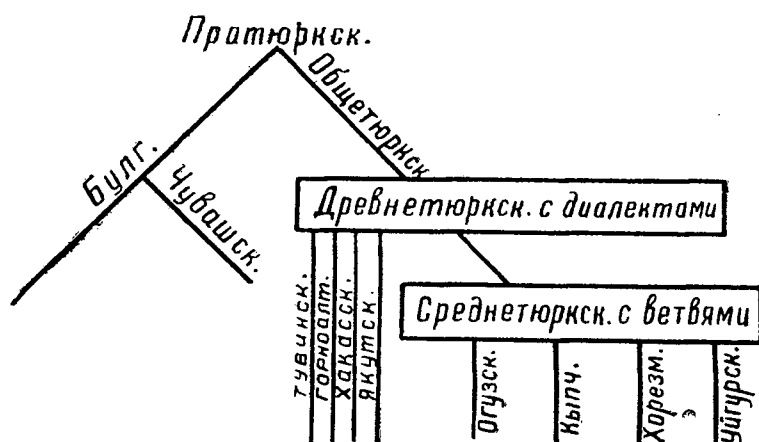


Рис. 3

Мы, со своей стороны, предлагаем для обсуждения еще одну схему (рис. 4), принципиально отличную от предыдущих лишь расположением общетюркского, включающего, на наш взгляд, и понятие болгарской языковой общности. Размещение общетюркского на схеме до выявления (или, напротив, вхождения) болгарского важно и выигрышно хотя бы потому, что в этом случае сохраняется возможность подхода к изучению соответствующих явлений со сравнительно-исторической меркой, в то время как вынесение болгарского материала за скобки общетюркского ограничивает возможности исследователя лишь обычным сопоставлением.

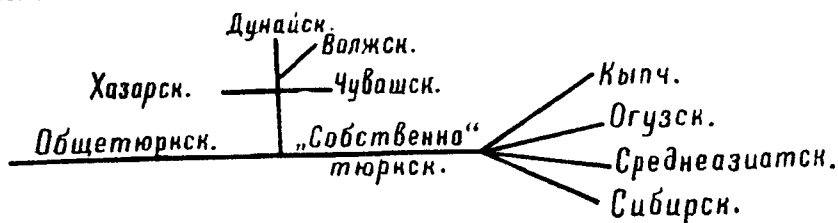


Рис. 4

С другой стороны, было бы не совсем правильно, отделив предварительно болгарскую ветвь от общетюркского ствола, продолжать по-прежнему оперировать чувашско-огузскими, чувашско-кыпчакскими и подобными им соответствиями. Разумеется, никто не возбраняет подвергать сомнению любые положения в науке, однако об этих сомнениях следует заявлять ясно и открыто.

Особенно веские доводы в возникшем споре способны выдвинуть, по нашему мнению, сами болгароведы (и прежде всего — чувашеведы). Надо ли напоминать о том, что построение любых классификационных

³ По лекциям А. Б. Долгопольского об отдаленном родстве ряда языковых семей Афразии, читанным в Башкирском университете в мае 1970 г.

схем в области развития тюркских языков должно учитывать историю народов — носителей этих языков⁴.

Кыпчакская проблема была и остается одной из серьезных задач исследования языкового прошлого народов нашей страны. Общеизвестна роль кыпчаков-половцев в истории Руси и сопредельных государственных образований. Однако немногочисленные старые памятники кыпчакских языков изучены крайне неравномерно и в целом недостаточно. Ведущим научным методом в создавшихся условиях должен быть компаративистский обзор всех структурных ярусов (фонетика, грамматика, семантика, лексика — с акцентом на последнюю) доступных кыпчакских языков с последующей реконструкцией архетипов при строгом учете диалектных данных.

Наиболее определенные суждения высказаны по двум из установленных наречий общекыпчакского языкового состояния: *половецкому* (на основании анализа заимствованных элементов древнерусских летописей, тюркизмов «Слова о полку Игореве», равно как и более поздних юридических документов на этом языке, составленных украинскими и польскими армянами) и *куманскому* (крупнейший памятник «Кодекс куманикус» с ближайшей к нам датировкой — 11 июля 1303 г., а также до семи арабоязычных «кыпчакских» грамматик и словарей, созданных в Египте, Сирии и Турции).

Оставляя пока в стороне очень сложный и деликатный вопрос о соотношении современных кыпчакских языков с глоссами старых памятников, обратимся к остающейся до сих пор недостаточно исследованной в диахроническом плане судьбе третьей группировки кыпчакских языков — *урало-поволжской*, по причине почти полного отсутствия в досоветское время письменных источников на этих языках. Это в свою очередь привело к неутрачивающим и поныне научным дискуссиям о происхождении и развитии отдельных тюркских языков данного региона.

Последнее обстоятельство нашло свое косвенное отражение и в проблеме рубрикации кыпчакских языков. Специалисты уже давно обратили внимание на неидентичность входящих в кыпчакскую ветвь тюркских языков, которые удобно группируются в две подветви: восточно-кыпчакскую и западно-кыпчакскую. Другие наименования этих локальных разновидностей: *арало-каспийская* (т. е. языки казахский, каракалпакский, отчасти киргизский и некоторые — сингармонические — говоры узбекского языка) и *кавказско-дагестанская* (т. е. кумыкский, карачаевско-балкарский, ногайский и территориально удаленные от них караимский и крымский языки).

Быть может, следовало бы разграничить названные два типа кыпчакских языков и терминологически — к примеру, собственно *кыпчакский* на востоке, имеющий сходные моменты с тюркскими языками Сибири, и *кипчакский* на западе, сближающийся рядом черт с *огузскими* языками.

Промежуточное положение между ними занимает *урало-поволжская* подобность кыпчакских языков, которая, несмотря на то, что состоит всего из двух языков — башкирского и татарского, также именуется в литературе по-разному: *уральской* (И. Бенцинг), *волго-камско-западносибирской* (К. Х. Менгес), *кыпчакско-булгарской* (Н. А. Баскаков). Кстати, последнее обозначение было поддержано многими отечествен-

⁴ Именно с таких позиций написаны известные монографии Н. А. Баскакова: *Тюркские языки* (М., 1960), Введение в изучение тюркских языков (М., 1962 и 1969), а также, отчасти, К. Н. Menges'a: *The Turkic languages and peoples*. Wiesbaden, 1968.

ными историками и этнологами, поскольку этногенез народов Поволжья-Приуралья действительно содержал много общего.

Каковы же местные особенности кыпчакских языков Урало-Поволжья, позволяющие выделить их в составе общетюркского массива?

В области вокализма — это прежде всего редукция гласных среднего подъема, присущая в меньшей степени также казахскому и ногайскому языкам; возникла ли она имманентно как результат общетюркской тенденции к укорочению гласных верхнего подъема или же является следствием иноязычного воздействия — может быть, болгарского или даже вообще нетюркского — на этот счет среди исследователей нет единого мнения.

Далее, это известный перебой широких и узких гласных, который характерен и для чувашского вокализма. И. А. Батманов усматривал в этом проявление следов древнетюркских говоров, отразившихся и в графике енисейских рун (соответствия $e - i$, $s - \dot{s}$ и др.). М. Ряснен, Дж. Г. Киекбаев и А. М. Шербак больше склонны считать эти рефлексy отражением разных ступеней развертывания общетюркской фонологической структуры. Б. А. Серебrenников же гипотетически объединил оба указанных процесса — редукцию и сужение — в следующих формулах: $i > j > e$, $u > \ddot{u} > o$, $\ddot{y} > \ddot{y} > \ddot{o}$ (здесь для полноты ряда напрашивается еще и переход $a > \ddot{a} > y$. — Т. Г.).

В сфере консонантизма выделяются: а) специфические башкирские среднеязычные спиранты $з$, $с$, которым в большинстве тюркских языков соответствуют «обычные» z , s (Н. К. Дмитриев предполагал в их генезисе участие иранского, точнее сарматского, субстрата, а Дж. Г. Киекбаев связывал их с сибирско-тюркскими аналогиями); б) татарские щелевые $\dot{с}$, $\dot{ж}$, отсутствующие в башкирском и казахском и соответственно замещаемые в них s , j (факультативно $\dot{ж}$) и $\dot{с}$, $\dot{ж}$. Следует отметить возводимое Н. А. Баскаковым к алтайской эпохе историческое чередование башк. s — тат. $\dot{с}$ — каз. $\dot{с}$ — кирг. $\dot{с}$ с маньчж. s , например: маньчж. $xusun$ — башк. $k\ddot{o}s$ в одинаковом значении 'сила' (если это не древнейшее заимствование. — Т. Г.).

Морфология кыпчакских языков Урало-Поволжья типологически совпадает, за исключением ряда различий алломорфного (или даже чисто количественного, т. е. морфологического) порядка: а) башк. $huk-taj$ — тат. $suktu\ddot{y}$ 'не ударяет'; б) башк. $b\ddot{u}ler$ — тат. $b\ddot{u}l\ddot{a}r$ 'поделит', но башк. $kiler$ — тат. $kiler$ 'придет', а также башк. диал. $bular$ — башк. лит. и тат. $bulyr$ 'будет'; в) башк. $ba\ddot{r}ajut$ — тат. $ba\ddot{r}ujt$ 'пойду-ка!'; г) башк. $al\ddot{y}ajnu$ — тат. $al\ddot{g}an ide$ (ср. также с разг. формой северо-западных башкир $al\ddot{y}anuje$) 'он уже взял' и т. д.

К сожалению, несмотря на весьма обнадеживающие исследования Д. Р. Фокоша-Фукса за рубежом и Н. З. Гаджиевой в нашей стране, сравнительное изучение синтаксиса кыпчакских языков делает только первые шаги. Пока же можно сказать лишь о значительной роли старой письменной традиции в становлении норм татарского синтаксиса (ср. хотя бы конструкции с заимствованным из персидского языка союзом ki : $e\dot{s} \dot{s}unda ki...$ 'дело в том, что...' и т. п.). В башкирском же строе речи, напротив, исторически был весьма ощутим удельный вес фольклорных приемов, заключавшийся, в частности, в своеобразном нанизывании целых «цепей» обстоятельственных бессоюзных оборотов, выраженных с помощью причастий и деепричастий. К примеру, в популярном эпическом произведении «Уралып яткан Уралда» целая поэтическая картина выражена всего лишь одним предложением (рядом приводится построчный перевод):

Уралып яткан Уралда
Әле алай һөйләшеп,
Әле былай һөйләшеп,
Күгәрсендәй гөрләшеп,
Икәү-өсәү серләшеп,
Сыйырсыктай эркеләшеп,
Кара казай тезеләшеп,

Иртән колон бәйләгән,
Күсә йөрөп йәйләгән
һылыу-һылыу кыззар бар.

«На свернувшемся клубком Урале,
То так переговариваясь,
То эдак переговариваясь,
Воркуя, как голубки,
Секретничая по двое-по трое,
Слетаясь, как скворцы,
Выстранываясь, как дикие гуси,

Утром привязывающие своих жеребят,
Кочующие по летовкам
Есть распрекрасные девушки».

Специфика башкирской лексики заключается в ее идущих далеко в глубь веков связях с зауральским языковым миром, в том числе и с нетюркским (см. любопытные подсчеты ленинградского алтаиста С. Н. Муратова общих элементов башкирского и бурятского словарей; известно также, что знаменитая «История Сибири» Г. Ф. Миллера содержит упоминание о *Башкурской* волости Тюменского уезда). Что касается татарского лексикона, то он больше тяготел к внешним воздействиям со стороны тюркских языков культурных центров Мавераннахра и Золотой Орды.

Специального обсуждения заслуживает проблема установления смысловой дифференциации одноярусных структурных единиц в близкородственных кыпчакских языках Урало-Поволжья (ср., например, ишугзаја в башк. 'горичвет' и в тат. 'подснежник', тај в башк. 'жеребенок-двухлетка' и в тат. 'годовалый жеребенок').

Что же лежит в основе факторов исторической изменчивости тюркских языков, приведших последние в условиях многовековой кочевки их носителей от сибирских лесов до дунайской котловины в состояние, квалифицируемое кыпчакской общностью? То ли диалектная рефлексия, идущая от дезинтеграции общетюркского языка-источника, как считают одни; то ли экстралингвистические влияния ареального характера, т. е. многочисленные и разнонаправленные языковые контакты адстратного, интерстратного, субстратного и суперстратного характера, как полагают другие? Нам кажется, и то и другое. Не исключается, видимо, и рабочая гипотеза о существовании уже после выдвижения тюрков с востока за Урал обширного языкового союза (Sprachbund'a в терминах Н. С. Трубецкого), в который могли входить и тюркские, и угро-финские, и иные языки, обладавшие отмеченными особенностями.

И. Г. ДОБРОДОМОВ

ТЮРКИЗМЫ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ ПО ИСТОРИЧЕСКОЙ ФОНЕТИКЕ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ

(СООТВЕТСТВИЕ $s \sim \check{s}$)

Классическое сравнительно-историческое языкознание при разработке истории языка широко использовало прежде всего данные родственных языков и диалектов, а также факты письменных памятников. Все эти материалы привлекаются языковедами как основные источники для построения преимущественно исторической фонетики. До сих пор недостаточно использовался материал заимствований, перешедших в другие языки из языка, для которого строится историческая фонетика. Зачастую этот материал может оказаться единственно доступным для изучения несохранившихся, исчезнувших языков и диалектов. Именно так обстоит дело с болгарским языком, распространенным в прошлом на обширных территориях Восточной Европы, сколком с которого в значительно обновленном виде является лишь современный чувашский язык¹. Последний подвергся довольно сильному влиянию соседних языков, и поэтому может дать лишь приблизительное представление о характере звуковых законов, возникших на болгарской языковой почве. Элементы кыпчакско-гузских заимствований в чувашском языке стерли ряд действовавших на болгарской языковой почве закономерностей, сблизив болгарский язык с прочими тюркскими языками путем частичной элиминации его специфических черт и замены их чертами интегрирующими.

Русский и другие славянские языки за многовековой период контактов с тюркскими народами вобрали большое количество тюркских по происхождению слов, причем последние отражают не только разные эпохи эволюции тюркских языков, но и различные диалекты и языки, во многих случаях уже исчезнувшие и не оставившие иных заметных следов. Привлечение этого материала поможет в отдельных случаях решить вопросы сравнительно-исторической фонетики тюркских языков на более широкой фонетической основе и позволит учесть новые факты, представляющие большую ценность для исследователя.

К числу спорных вопросов сравнительно-исторической фонетики тюркских языков относится проблема возникновения тюркско-болгарского соответствия $s \sim \check{s}$, которое охватывает лишь сравнительно небольшой круг слов; не распространяясь на многие слова, содержащие старый тюркский звук s : чув. $\check{s}ig\check{a}$ 'белый' (но ср. чувашский «татаризм» $sa\check{g}\check{a}$ 'желтый', 'русый', 'рыжий') при киргизском $sa\check{g}u$ 'желтый', 'рыжий', 'ру-

¹ Ср. другую точку зрения в книге: Г. В. Юсупов. Введение в болгаро-татарскую эпиграфику. М.—Л., 1960.

сый'; чув. šuw 'вода' — кирг. suu 'вода'; чув. šəwag 'поливать' — кирг. suɣag 'поливать'; чув. šəla 'судак' — казах. syla, башк. hyla; чув. šəpəg 'жила, сухожилие' — кирг. siŋir 'сухожилие'; чув. šərga 'гнида' — кирг. sirke; чув. šur 'болото' — кирг. saz 'болото, мокрые луга' и т. п. Тюркско-чувашское соответствие s ~ š встречается гораздо чаще: чув. saw 'любить' — кирг. süj; чув. saɣra 'редкий' — кирг. seɣrek; чув. sakkəg 'во-семь' — кирг. segiz и т. д. и т. п. Примеры можно умножить, тем более что они доминируют.

Было предпринято несколько попыток объяснить соответствие s большинства тюркских языков чувашскому š. Имеет смысл остановиться на новейших высказываниях по этому вопросу, тем более, что они сопровождаются указаниями на литературу.

Касаясь судьбы старого тюркского s, М. Рясянен писал: «В чувашском языке данный звук вообще сохранился, но часто >š (та же подстановка j, как и у t->t's'- и k->j-). Это явление древнее; оно встречается также в древнебулгарских заимствованиях в венгерском языке: sörög, sereg (читается š-) 'мести' <*s'ipür (>чув. šəbəg 'веник, метла' ~ тат. sərəkə); венг. sár 'болото', 'грязь' <*s'iar (>чув. šor ~ туркм. sáz-φāδ) и др. (Gombocz. MSFOu, 30:175—17; Ramstedt. Zur frage nach der stellung des tschuwassischen. JSFOu, 381:23)»². З. Гомбоц в месте, на которое ссылается М. Рясянен, отмечает параллелизм в соответствии s ~ š между чувашским и монгольским языками, и даже склонен считать, что чувашско-монгольское š является архаизмом, утраченным другими тюркскими языками в результате перехода š>s (в противовес В. В. Радлову, который видел в словах с чувашским š лексемы начального этапа тюркизации первоначально финно-угорского языка)³.

Гипотеза Н. Н. Поппе об изменении s>š перед i, у⁴ получает скептическую оценку у А. М. Щербака, считающего, что она не подтверждается фактами чувашского языка. Сам А. М. Щербак разделяет точку зрения о принадлежности чувашских слов с согласными s и š «к разным диалектам»... «в чувашском языке наличие нескольких диалектных пластов легко обнаруживается и на примерах отражения других звуков». Более отчетливо эту точку зрения выразил К. Г. Менгес, на которого А. М. Щербак, впрочем, не ссылается: «В чувашском языке обычно обнаруживается s-, но некоторый (гуннский?) слой чувашских слов вместо него имеет š-, отраженный также в гунско-булгарских словах старославянского и венгерского языков... ср. тюрк. saɣuɣ 'желтый' >чув. šigə 'белый' >ст.-слав. шарь 'краска'; тюрк. süpür 'подметать', чув. šəbəg 'метла', венг. sörög, šäräg 'то же'; чув. šur 'болото, топь, трясина', туркм. φāδ (<*saz) 'то же' >венг. šar 'то же'⁵. Следовательно, появление соответствия s ~ š нужно рассматривать как древнее явление, что и было подчеркнуто М. Рясянею.

² М. Рясянен. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. М., 1955, стр. 151.

³ Z. Gombocz. Die болгарisch-türkischen lehnwörter in der ungarischen sprache. Helsinki, 1912 (-MSFOu, 30), стр. 177; W. Radloff. Phonetik der nördlichen Türksprachen. Leipzig, 1882, стр. 154—155.

⁴ Н. Н. Поппе. Чувашский язык и его отношение к монгольскому и турецкому языкам, III. — Известия АН, VI серия, XIX, 1925, №№ 1—5, стр. 23.

⁵ А. М. Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970, стр. 161—162; K. Menges. The Turkic Languages and Peoples. An Introduction to Turkic Studies. Wiesbaden, 1968, стр. 94.

В некоторых случаях результаты перехода $s > \dot{s}$ в современном чувашском языке у целого ряда слов не проявляются, ибо старые формы, отразившие этот переход, были заменены новыми формами, так называемыми «татаризмами», которые внешне совпадают с фактами современного татарского языка, где подобного перехода не было. Например, в современном чувашском языке представлено название карпа, сазана *saZaп* (орфогр. сасан), полностью совпадающее с формой *sazan* других тюркских языков (в туркм. здесь отражена долгота гласного в начальном слоге). Однако это слово в чувашском языке является поздним русизмом или «татаризмом», о чем свидетельствует хотя бы отсутствие изменения $a > u$ в начальном слоге слова. Не вполне обычно выглядит соответствие чув. *Z* звуку *z* в других тюркских языках. Зато в русских диалектах обнаруживается древнебулгарское соответствие тюркскому *sazan шаран, шаранец* «рыба короп, карп, сазан, коли он весом меньше 10 фнт.»⁶. Засвидетельствован этот древний булгаризм с долгим *a* начального слога, еще не перешедшим в *o* или *u* также в других славянских языках: украинском, болгарском, македонском, сербскохорватском, чешском и польском. Есть это слово и в румынском языке, куда оно могло попасть как из славянских языков, так и непосредственно из древнебулгарского.

Булгарское происхождение слав. *шаран* подтверждается другой булгарской чертой — ротацизмом, т. е. соответствием *з* — *р*. Небулгарский тюркизм русского языка *сазан* заимствован скорее всего из татарского языка, ибо еще В. И. Даль (IV, 129) считал его для русского языка поволжским словом: *сазан* снабжено пометой *вост.* Чув. *sazan* может восходить в равной степени как к русскому, так и к татарскому источнику. Тюркская небулгарская форма *sazan* также широко распространилась в разных языках как заимствование: укр. *сазан*, новогреч. *σαζαρι*, калмыцк. *sažan* и т. п.⁷

В русском и белорусском диалектных наименованиях овцы — *шурка* запечатлено более древнее булгарское название овцы, нежели встречающееся в современном чувашском *сугэх, согэх*, которое либо было обновлено под влиянием татарского *saγuq* (*s*- вместо ожидаемого $\dot{s}$ -), либо восходит к такому булгарскому диалекту, который не знал изменения $s > \dot{s}$. Марийские названия овцы *šogək* (луговое) и *šagək* (горное) нельзя считать только отражающими изменение $s > \dot{s}$ на марийской почве: их можно рассматривать как чувашские заимствования уже с начальным $\dot{s}$ -, впоследствии утраченным в чувашском языке под влиянием татарского языка или других чувашских диалектов, которым изменение $s > \dot{s}$ было неизвестно⁸.

В русских говорах бывшей Казанской губернии известен и татарский вариант этого же слова *саргá* 'овца' (Даль IV, 138), который или извлечен из притяжательных форм татарского *saγuq* с озвонченным интервокальным *γ*, или же восходит к уменьшительной тюркской форме на *-a*.

⁶ См.: В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка <изд. 7>, т. IV. М., 1956, стр. 622. Далее: Даль, римские цифры обозначают том, арабские — страницу.

⁷ А. Г. Преображенский. Этимологический словарь русского языка, т. II. М., 1910—1914, стр. 244; M. Räsänen. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki, 1969, стр. 406.

⁸ M. Räsänen. Die tschuwassischen lehnwörter im tseheremissischen. Helsinki, 1920 (-MSFOu, 48), стр. 123.

Русские говоры Смоленщины и белорусские говоры, в которых встречается название овцы *шўрка*, весьма удалены от чувашского языка, что представляется как значительное препятствие для сближения *шўрка* и *surăx*. Но учет исторических фактов позволяет его устранить. Вполне удовлетворительное объяснение распространения этого булгаризма далеко на запад (имеется целый ряд слов подобного рода) дает весьма остроумная историко-лингвистически обоснованная теория А. А. Шахматова о восточнорусском источнике аканья и распространения его с востока из районов Подонья на запад: «...акаяющее наречие, господствующее и в Белоруссии и в средней полосе России, образовалось на юго-востоке России; удаление оттуда, вызванное переменами в господствовавших над степью кочевниках, привело восточнорусов частью на север, частью на северо-запад. В XII в. видим «мятущихся» вятичей в средней России: ими населяются рязанские волости, а также земли в верхнем Подесенье. Искание безопасности и свободных земель загнало часть вятичей в Белоруссию, где они смешиваются с сидевшими здесь южнорусскими и ляшскими племенами. Таким образом, согласно сделанному предположению, движение восточнорусов из старых мест их поселения на север и северо-восток повело к разделению их на восточную и западную отрасли: восточная осела в бассейне Оки, западная двинулась в северное Поднепровье и далее в глубь современной Белоруссии; восточная легла в основание современной южновеликорусской народности, а западная составила часть народности белорусской»⁹. Вместе с аканьем западная часть восточнорусов принесла на западную окраину восточного славянства также и болгарские слова, усвоенные в районе прежнего контакта с болгарскими племенами.

Интерес для тюркологии представляет также русское диалектное название левой руки и левши — *шўльгá* (Даль IV, 648 с пометами *прм., арх.*, для *прм.* также приведена менее ясная форма *шўленá*), которое не связано с церковнославянским *шуши* 'левый', а является болгарским преобразованием тюркского прилагательного со значением 'левый': казах. *solaqaj*, вост.-туркест. *solaqaj*, *solaqaj*, кирг. *soloqoj*. Чув. *sologaj*, *sulagaj*, вероятно, заимствовано из татарского, куда оно, по Г. Рамstedту, попало из монгольского¹⁰. Чувашскими заимствованиями являются, по-видимому, марийск. *šola*, *šolaqaj* и *šalaqaj* и морд. *šul'aj*, где, как и в русск. *шўльгá*, отражен переход *s > š*. Особенно интересна мордовская форма *šul'aj* с наличием палатализации согласного *l'*, аналогичного русскому *л'*. Любопытно, что в чувашских диалектах Саратовской области имеется форма, вокалически весьма близкая к славянским — *солкка* 'левша'¹¹, сохраняющая гениинный тюркский облик, в противоположность монголизму *сулахай* в литературном языке.

Смягчение *л* на русской и мордовской почве не вполне ясно. Любопытно отметить, что и русское слово *левша* было заимствовано татарским языком в форме *lüška*¹². Тюркская корневая морфема *sol* 'левый' в туркменском языке имела долгий гласный *o*, что должно было сохра-

⁹ А. А. Шахматов. Очерк современного русского литературного языка. Изд. 4-е. М., 1941, стр. 239. См. также: И. Г. Добродонов. К вопросу о болгарских элементах в белорусском языке. — «Проблемы беларускай філалогіі. Тэзісы дакладаў рэспубліканскай канферэнцыі прысвечанай 50-годдзю БССР і КПБ». Мінск, 1968, стр. 39.

¹⁰ Г. И. Рамstedт. Введение в алтайское языкознание. Морфология. М., 1957, стр. 185.

¹¹ Л. П. Сергеев. Из наблюдений над говором саратовских и пензенских чувашей. — «Материалы по чувашской диалектологии», вып. 3. Чебоксары, 1969, стр. 92.

¹² M. Räsänen. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki, 1969, стр. 316.

ниться также в производных *solaq* 'левая рука' (чагат., тур. > болг. *su-lak-še*), древнетюркск. *solatıq* 'левша' (Махмуд Кашгарский) и в разобранном выше *solaqaj*¹³. К обширному тюркско-монгольскому материалу, касающемуся слов анализируемого корня, собранному В. Г. Егоровым в его «Этимологическом словаре чувашского языка»¹⁴, следует добавить также мансийские *соләп*, *соләпк*, *сопхәп* 'левый', которые хорошо проанализированы на богатом тюркском материале Артуру Каннисто¹⁵. Вероятно, сюда же относятся сербскохорватские *шувак* 'левша', *шувака* 'левая рука', если это не переделки старого *шуй*, что кажется маловероятным (ср., однако, русск. *шуйка* «левша». — *Даль*). Во всяком случае здесь следует отметить наличие перехода *л > в* при отсутствии палатализации плавного *л*. Семантика тюркских слов с первичным значением «левый» разобрана Л. С. Левитской¹⁶.

Финно-угорский материал распространения тюркского слова может быть также обнаружен за пределами марийского, мордовского и мансийского языков, ибо это слово представлено также в коми-зырянском языке: *шуйга* 'левый'. Ср. также эрзянско-мордовскую форму *шуйльга* 'левша'.

В последнее время Н. И. Толстой предпринял попытку семантического анализа этимологического гнезда слов, где воедино собраны слова *шуй* и *шуйльга*, несовпадение в фонемном составе которых автор объясняет табуистическими причинами, а словообразование оставлено в стороне¹⁷. Во всяком случае необходимо учитывать и внеславянские параллели. На основании западного русского диалектизма *шувър* (*Даль* IV, 647) 'болотные, водяные растения' (слово бытует также в украинском языке *шувър* «*Asopus calamus*» и в польском *szuwar* 'аир, камыш', последнее является несомненным украинизмом¹⁸), а также представленного в «Древнетюркском словаре» сочетания *suqar qapıjş* (стр. 514) «название разновидности камыша»¹⁹ можно восстановить отсутствующее в современном чувашском языке старое болгарское слово **šuwar*, обозначающее разновидность камыша и других водяных растений. В других тюркских языках соответствующего слова как будто не обнаруживается. Впрочем, это славянское слово иногда объясняется как старый германизм, что плохо увязывается географически, а также вызывает фонетические противоречия, подмеченные О. Н. Трубачевым, который дал весьма обширный список внутриславянских соответствий²⁰. Обращают на себя внимание характерные для тюркизмов конечное ударение и колебания огласовки первого слога: болг. *шавар* 'осока', макед. *шевар* 'тростник, камыш', сербскохорв. *шѣвар* 'тростник, камыш', словацк. *šiv-*

¹³ М. Räsänen. Versuch., стр. 426, 427.

¹⁴ В. Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964, стр. 193—194.

¹⁵ А. Kannisto. Die tatarischen lehnwörter im wogulischen. — «Finnisch-ugrische forschungern», XVII. Helsinki, 1925, стр. 169, 171.

¹⁶ Л. С. Левитская. «Правый» и «левый» в тюркских языках. — «Ученые записки Научно-исследовательского института при Совете Министров Чувашской АССР». Вып. 46 (Филология). Чебоксары, 1970, стр. 267.

¹⁷ Н. И. Толстой. Из великорусской диалектной семантики. — «Проблемы истории и диалектологии славянских языков». М., 1971, стр. 259—266.

¹⁸ А. Brückner. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957, стр. 553. Ср. венг. *sarjű* 'отава'; J. Kniezsa. A magyar nyelv szláv jövevényszavai. Budapest, 1955, стр. 938.

¹⁹ Ср. здесь же *suqarlac böğk* 'длинная (остроконечная) шапка'.

²⁰ О. Н. Трубачев. Работа над этимологическим словарем славянских языков. — «Вопросы языкознания», 1967, № 4, стр. 43.

var, šivar 'поросшее травой место', чеш. диал. (моравск.) šívarina 'сорная трава' при польском и восточнославянском *швар*.

В отдельных случаях чередование согласных $s \sim \dot{s}$ обнаруживается в тюркизмах и на русской почве, что, очевидно, должно отражать различные пути заимствования одного и того же слова из разных тюркских диалектов и языков. Например, название красной рыбы *Acipenser stellatus* В. И. Даль приводит в двух разновидностях *севрюга* и *шеврѹга* (*шеврѹга*) (Даль IV, 169, 626). Эти формы восходят к двум разным тюркским диалектам. Рыба была названа так за свой внешний вид: ее наименование представляет собой субстантивированное прилагательное со значением «острый, остроконечный». Ср. относящийся сюда материал, собранный М. А. Ряшенном: «др.-тюркск. süvḡä 'острый', бараб. süḡü 'скала', тур. sivri sinäk 'комар', Абу-Хайян: süvḡü čibin, кумык. süḡrü zibin, алт. тел. süḡü. (Вербицкий) süḡ(i), кирг., казах., тоб. süḡrü, тат. sējḡ, чув. šəvḡ, šəvḡḡ, šḡḡ, šḡḡḡḡ (Ашмарин XVII, 262), šḡḡ 'острый'; туркм. süjrik 'севрюга', тат. sējḡḡk 'стерлядь', (> русск. севрюга) ~ монг. (Рамstedt. Калм. сл., 367) sibüḡe, калм. šöwḡḡ 'шило, острие'. Сюда же он относит среднетюркское (по Махмуду Кашгарскому) sübi 'длинный и острый', тур. sübü 'круглый и острый, цилиндрический'²¹. Ср. также нем. Scherg и Sewḡüga 'севрюга', причем последнее — явный русизм. Чувашские названия севрюги ševrik, ševḡḡk (Ашмарин, XII, 78) заимствованы из русского языка.

Наряду со старым общерусским словом *сакма́*, *сокма́* 'колея, след колеса', 'тропинка, след, след зверя' (Даль IV, 129), в вятских и камчатских русских говорах отмечается вероятный болгаризм *шахма́* 'сакма́, малик, след, колея, накат' (Даль IV, 624). Булгарскому переходу $s > \dot{s}$ в этом слове также сопутствует характерное для чувашского языка изменение $q > x$. В кыпчакских языках этому слову соответствуют образования с суффиксом -таq от тюркского глагола soq- 'бить': чагат. soqtaq 'тропа', казах. soqpaq, тат. suqtaq и т. п.²² В современном чувашском языке форм с начальным -š не обнаружено, хотя в чувашском языке и употребляется татаризм *сукмак* 'тропа', под которым в «Этимологическом словаре чувашского языка» В. Г. Егорова собраны многие тюркские параллели²³.

Старославянское *шаръ* 'краска' вместе с *шаръчиш* 'художник' являются несомненными тюркизмами-булгаризмами, хотя соответствия для них в современном чувашском языке не обнаружены²⁴. В этой старославянской форме отражено болгарское соответствие *šḡḡ тюркскому названию киновари, краски вообще, лака или глазури syḡ, которое представлено у Махмуда Кашгарского, а также в турецком, казахском, татарском, чагатайском, новоуйгурском и т. д. (в языках с отсутствием

²¹ М. Räsänen. Versuch..., стр. 434, 438, где, однако, немецкий перевод туркм. süjrik должен быть Scherg 'севрюга', не Scherge 'палач'. Ср. кумык. сюйрюк балыкъ 'осётр'.

²² М. Räsänen. Versuch..., стр. 426. Семантически тяготеющее сюда сибирское *шахтарá* 'зимний след белки, куньи, по деревьям, оброном с сучьев снегу или кухты' (Даль IV, 624) едва ли может быть увязано словообразовательно. Ср. здесь же *шахтá* 'хвойная гуща, чаща, холмистая; хвоя на дереве, лапник' и арх. *сáхта* 'торфяное болото, кореннице, коренник' (IV, 139).

²³ В. Г. Егоров. Этимологический словарь чувашского языка, стр. 193.

²⁴ Приведенное выше сближение ст.-слав. *шаръ* и чув. *шура* 'белый', сделанное К. Менгесом, неубедительно семантически и морфологически: мужской род вместо ожидаемого женского ничем не оправдан, а возникновение формы *шаръчиш* нельзя объяснить происхождением от *шарачиш, которая могла бы возникнуть от формы *šagäci.

y (*ы*): *siḡ*—чагат, н.-уйг). Тюркские названия вместе с монг. *siḡ* и калм. *ṣiḡ* 'лак, олифа' восходят к китайскому *ts'i¹* (из более старого **tsiḡ*, **tsit*). См. об этом в этимологическом словаре М. А. Рясенена²⁵. Булгарский гласный *э* (или *y*), будучи неэквивалентным славянским гласным, испытал субституцию гласным *a*, отсюда кажущееся несоответствие в вокализме. Аналогичная субституция гласного *a* на месте тюркского *y* (*ы*) наблюдалась при заимствовании тюркского названия краски мансийским языком, где оно звучит как *saḡ*, *saḡ*. Тюркизмом является и мансийский глагол *saḡla't*, *saḡla't* 'красить, раскрашивать'²⁶. Современное чувашское название краски *səḡ*, *səḡə* (орфографически *сар*, *сара*), вероятно, в свете указанных славянских фактов следует считать татаризмом.

Встречающийся в диалекте тюменских татар глагол *šaḡla* 'белить'²⁷ возник в результате декомпозиции (разложения) отыменного глагола *aqšaḡla* 'белить, штукатурить' (от не вполне ясного этимологически существительного *aqšaḡ* 'штукатурка, мел', отмеченного в «Опыте словаря тюркских наречий» (т. I, стлб. 127); возможно, это арабское прилагательное أَقْشَر *aqšaḡ* 'очищенный, облупленный, шелушённый' с упором на первые компоненты семантики). Так как глагол *aqšaḡla* обозначал покраску в белый (*aq*) цвет, то наличие в составе глагольной основы элемента *aq-*, совпадавшего с татарским прилагательным *aq* 'белый', оказалось излишним, и поэтому он был элиминирован: отсюда и сибирский глагол *šaḡla* 'белить'²⁸.

В последнее время В. В. Мартынов предложил индоевропейскую этимологию для названия *шарь* 'краска', но она не представляется убедительной хотя бы из-за того, что в ней остается неясным образование *шарьчи* 'художник', которое В. В. Мартынов неправильно дает как *шарь* (омонимично названию краски)²⁹.

Звуковое несоответствие между персидским *bōstān*, *būstān* и соответствующими тюркскими формами (туркм. *bōstān*, чагат. и т. п. *bostan* 'сад, огород', полонецк. *bostaṇ?*, *bostan* 'сад'), с одной стороны, и русск., укр. *ба́штан* 'огород, бахча' — с другой, заставляет искать булгарское посредство, благодаря которому произошел переход *s > š*, а также возникло аканье на почве субституции *э̃* (<*o*, *u*) ~ *a* (ср. *хо́за*» русск. *хо́зяин*, укр. *хазя́їн* тоже с аканьем на украинской почве, как след субституции *э̃* ~ *a*)³⁰. Этот пример позволяет предполагать, что переход *s > š*, вероятно, был возможен также и в положении не перед гласным, хотя других примеров изменения *s > š* перед согласным неизвестно.

Встречающуюся в среднерусских памятниках форму названия полицейского чиновника или судьи *шубаш*, которое соотносится с тур. *subaşı*

²⁵ М. Räsänen. Versuch..., стр. 418.

²⁶ A. Kannisto. Die tatarischen lehnwörter im wogulischen. — «Finnisch-ugrische forschungen», XVII. Bd. (1925), стр. 174—175.

²⁷ Д. Г. Тумашева. Көнбатыш Себер татарлары теле. Грамматик очерк һәм сүзлек. Казан, 1961, стр. 227.

²⁸ Следует также учесть редкую лексему *заууг* 'краска' в языке омских татар, не имеющую параллелей в других тюркских языках. Д. Г. Тумашева. Указ. раб., стр. 226.

²⁹ В. В. Мартынов. Славянская и индоевропейская аккомодация. Минск, 1963, стр. 120—121.

³⁰ Г. Г. Добродомов. Українське акання і булгарсько-чуваські запозичення. — «XIII республіканська діалектологічна нарада. Тези доповідей (Київ, квітень 1969 р.)». Київ, 1969, стр. 147—149.

‘военачальник’, чагат. *subaşı* ‘начальник полиции, полицеймейстер’³¹, можно было бы объяснить межслоговой ассимиляцией $s - \dot{s} > \dot{s} - s$, но установленное пока неопубликованными разысканиями Г. Е. Корнилова наличие этого титула в чувашском названии Чебоксар — *Шунашкар* (*šubaškaŋ*), которое только случайно совпадает с русским названием *Чебоксары*, имеющим другое происхождение, делает возможным предположение о болгарском посредстве в заимствовании тюркского титула. Булгарская огласовка распространялась в среднерусском языке и на небулгарских начальников.

Слово *шубашъ* как название должностного лица в Турции встречается уже в «Хождении за три моря» Афанасия Никитина: «А въ Трапизоне ми же *шубашъ* да паша много зла учиниша: хламъ мой весь къ себе възнесли въ городъ на гору, да обыскали, все что мелочь добренкая, и они выграбили все; обыскивают грамотъ, что есми прошолъ изъ орды Асанбега»³². Встречается он также в «Памятниках дипломатических сношений Московского государства с Крымскою и Ногайскою ордами и с Турцией» XV — начала XVI вв.: «*шубаша* азовского толмачъ»³³; «А какъ пошли Перша и Софон [моск. купцы] из Кафы... ино корабль ихъ закинуло ветромъ под Таманъ и туто Софона не стало, и таманской *шубашъ* да кадый да зауморщики взяли у Перши... Софопова живота на пятьдесятъ рублевъ»³⁴. В перечне должностных лиц это слово употреблено у Ивана Пересветова: «судьи... кадыи и *шубаши* и амини»³⁵; «послалъ... пашу, *шубаша*, аминя то есть судьи царевы»³⁶; «да послал по городам судьи свои, паши верныя и кадыи, и *шубаши*, и алмини, и велел судити прямо»³⁷.

Любопытно учесть сербскохорватский турцизм *субаша* ‘полевой сторож; ближайший помощник паши’, где начальный слог, вероятно, воспринимался за славянскую приставку *су-* (ср. русск. *сусед* — *сосед*) и имело место сближение со словами *паша* ‘пастбище, выгон, выпас’ и *паша* ‘паша турецкий’.

Булгарское посредство с переходом $s > \dot{s}$ помогает найти этимологию общеславянского слова *чаща*, которое являет собой образец древнего бродячего слова иранского происхождения (перс. *kāse*), которое в несколько этапов было заимствовано тюркскими языками и отразилось в них как с гласными переднего ряда (напр., казах. *kese*, *kāse*), так и гласными заднего ряда (напр., татар. *qasa* — Радлов II, 348), которые указывают на разные этапы заимствования³⁸. На болгарской почве иранск. **kāsā* изменилось в **kāšā* с дальнейшим закономер-

³¹ По происхождению: *sū* «войско» + притяжательная форма от *bas* ‘голова, глава’ с дальнейшей универбализацией и выравниванием огласовки по заднему ряду. См.: *M. Räsänen. Versuch...*, стр. 431; *M. Vasmer. Russisches etymologisches Wörterbuch*, III. Heidelberg, 1958, стр. 433, не учитывает фонетические расхождения русских и тюркских форм.

³² См. Полное собрание русских летописей, т. XX, ч. 1. СПб., 1910, стр. 313 — Львовская летопись.

³³ Сборник русского исторического общества, т. 41. СПб., 1884, стр. 352.

³⁴ Там же, стр. 408.

³⁵ В. Ф. Ржиги. Пересветов, публицист XVI века. Чтения в Обществе истории и древностей российских. М., 1908, кн. I, стр. 72.

³⁶ Там же, стр. 73.

³⁷ Там же, стр. 188. Все цитаты из памятников здесь даются по картотеке Древнерусского словаря XI—XVII вв. Института русского языка АН СССР в Москве.

³⁸ См.: *M. Räsänen. Versuch...*, стр. 239 без хронологической стратификации

ным преобразованием в *ча́ша* уже на славянской почве³⁹. Ср. татар. *käsa* 'чаша', но в диалектах *kasa* 'сахарница'.

Впрочем, иранское слово вошло в русский язык также и через татарское *qasa* — *kasa*, которое в результате присоединения русских суффиксов превратилось в теперь уже архаичное *ко́су́ха*, *ко́су́шка* 'мера жидкости (вина и водки), шкалик, четверть штофа или полбутылки'⁴⁰.

В русском языке жителей Средней Азии сейчас это слово употребляется в качестве экзотизма для названия широко применяемой здесь в быту пиалы, причем форма этого слова пока еще далека от стабильности и фиксируется на письме в различных орфографических обликах, отражая то произношение, то написание на разных языках, а также русскую морфологическую адаптацию: *каса*, *киса*⁴¹.

Из трех рефлексов иранского *kisa* (перс. کيسه), имеющих в русском языке: *киса*, *кисет*⁴², *кишень* (*кишеня*), вошедших в русский язык через посредство тюрков, лишь третий вариант с разновидностью имеет широкое распространение не только в восточнославянских⁴³, но и в западнославянских языках. М. Р. Фасмер связывает *кишень*, *кишеня* с не вполне ясным *кишка* и отвергает тюркскую этимологию, ибо для него отсутствие прямого непосредственного тюркского источника в этом случае оказалось решающим⁴⁴. Однако учет межтюркских соответствий и тюркских заимствований в соседних языках позволяет решить спорный вопрос также в пользу тюркской этимологии.

В свете приведенных фактов наличие в слове *кишеня* звука *š*, соответствующего звуку *s* в тюркских языках (тур., крым.-тат. *käsä*, тат., казах. *kisä*, балкар., кумык. *kise*, тат. *kisa*, туркм. *kise* 'кисет', *kise* 'карман', сюда же следует отнести чув. *käsja*, *käsjä*, *käzija*, представляющее собою, вероятно, татаризм с не вполне ясным *j*⁴⁵), позволяет видеть в севернославянском *кишень*, *кишеня* болгаризм, не отраженный современным чувашским языком. Что касается конечного согласного основы, то он может восходить к редкому тюркскому или иранскому показателю

³⁹ И. Г. Добродомов. Из болгарского вклада в славянских языках II. — «Этимология. 1968». М., 1971.

⁴⁰ М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка, т. II. М., 1967, стр. 349. Ср. аналогичную судьбу голландского заимствования *шкалик* = нем. *Schale* 'чашка (весов), тарелка'. Из русского заимствовано кумык. *ча́шка*.

⁴¹ Э. Н. Кушлина. Таджикские и узбекские слова в русском языке. Душанбе, 1968, стр. 13, 29; И. А. Киссен. Курс сопоставительной грамматики русского и узбекского языков. Ташкент, 1966, стр. 75; З. С. Шеломенцева. Словарь тюркизмов в русском языке жителей Средней Азии. Фрунзе, 1971, стр. 65.

⁴² М. Фасмер. (Указ. словарь, стр. 239) возводит их к арабскому *كيس* *kis* 'кошелек', которое само заимствовано из персидского. В форме *кисет* конечное *-t* отражает или архаичское тюркское или же арабское правильное множественное число на *-(a)t*. Таким образом, загадочное конечное *-t* русского *кисет* получает удовлетворительное объяснение.

⁴³ В. И. Даль считает это слово южным и западным, т. е. распространенным на границе с украинским и белорусским языками, но присутствующим также и в вологодских говорах. Семантически к нему восходит то же слово со значением «брюхо, желудок» в псковских и тверских говорах, а также *кишеник* 'карманный складной нож' в кемских говорах бывшей Архангельской губернии. (М. Фасмер. Указ. словарь, т. II, стр. 440).

⁴⁴ М. Фасмер. Указ. словарь, т. II, стр. 242.

⁴⁵ Возможно, это сохранившийся без изменения промежуточный этап: *s > sj > s*, который весьма вероятен с точки зрения артикуляционной. Обзор тюркских форм см. в словаре М. Рясина, стр. 257, где отношения между ними и заимствованиями рассматриваются несколько иначе. Любопытны болгарские формы *кесія*, *кисия* и румынск. *chisea*. См. J. Kniezsa. A magyar nyelv szláv jövevényszavai. Budapest, 1955, стр. 266; Fr. Slawski. Słownik etymologiczny języka polskiego, t. II. Kraków, 1958—1965, стр. 157.

множественного числа -āp, если не учитывать маловероятную возможность появления здесь арабского окончания двойственного числа (ср. арабск. كيس *kīs*⁴⁶ — дв. ч. كيسان *kīsān*). Такое объяснение тем более приемлемо, что в марийском языке М. А. Ряснен отмечает наряду с формой *kəšija* также другие старые чувашизмы с финальным -п (*kūšāp, kūšēp, kəšān*), отражающим тот же тюркский или иранский аффикс множественного числа. При этом марийское *š* могло развиваться из *s* уже на марийской почве и его не следует принимать во внимание. Караимское (диалект Тракая или Троков) *kāšāne* отражает скорее белорусск. *кішэня*, чем польск. *kieszén*. Литовские *kišėne, kešėne* ‘карман’ — из белорусского, отсюда же латышск. *ķeša* < **ķešene*. Итак, русские названия кармана, кошелька, мешочка и т. п. — *киса, кисет, кишенья* — отражают сложные пути миграции одного и того же иранского слова через тюркское посредство и дают возможность строить исключительно на славянском материале историко-фонетические предположения относительно тюркских языков.

При исследовании следов болгарского перехода *s* > *š* рассматривались только случаи, где невозможно видеть славянских колебаний *s* ~ *š*⁴⁷. Преобразование свистящих в шипящие отмечается также при заимствовании славянами германизмов: нем. *Seide* ‘шелк’ ~ русск. арханч. *шида* ‘то же’, герм. *husa* > слав. *хыжа*, ср. др.-прусс. *silkas*, герм. *silk* ~ лит. *šilkas*, русск. *шёлк* и т. п. Ср. также колебания при русском оформлении японских слов: *синтоизм* и *шинтоизм*. При анализе бродячих слов следует тщательно учитывать соотношение свистящих и шипящих, чтобы с большей уверенностью проследить движение этих слов⁴⁸.

Очень важно установить хронологию перехода *s* > *š*. Если упомянутая здесь этимология общеславянского *чаша* из перс. *kase* (при болгарском посредстве) верна, то звуковой переход *s* > *š* следует датировать очень ранним временем (до VII века, когда эта лексема могла попасть к праславянам).

Этот процесс изменения свистящих в шипящие продолжал быть живым также в период проникновения в языки Восточной Европы мусульманских терминов, о чем говорит судьба арабского *pomīnis loci* от глагола زار *zāra* ‘ходить’ — مزار *māzār* ‘место, где ходят (паломники)’ > ‘могила святого’ >> русск. говоры Поволжья (*Даль* II, 288: вост.) *мазárки* ‘кладбище, татарское и инородческое кладбище; древнее, покинутое кладбище или место, где оно было по преданию’, но в орловских говорах *мажáры* ‘мазárки, древнее кладбище, бугристое место’. Современное чувашское *тазаг* — очевидный татаризм: *a!* в начальном слоге. Слово явно проникло в Восточную Европу вместе с мусульманством.

⁴⁶ Арабизмами являются кумык. *kys* ‘карман, кошелек, сума’ и азерб. *kis*, приводимые в словаре М. А. Рясненна (стр. 257). Грузинское *kisa* ‘кошелек’ заимствовано из персидского, венгерское *kesza* из сербск. *kesa, česa*.

⁴⁷ См. об этом: А. М. Селищев. Соканье и шоканье в славянских языках. — В кн.: А. М. Селищев. Избранные труды. М., 1968, стр. 584—604.

⁴⁸ Г. В. Юсупов. Указ. раб., стр. 77. Автор приводит примеры отражения чередования *s* ~ *ш* в топонимии.

В настоящей статье автор стремился показать на доступном ему материале, что изучение болгарских заимствований в других языках дает возможность получить данные для истории тюркских языков и в первую очередь чувашского языка. Такой материал еще не собран, и его поиски сопряжены с целым рядом трудностей. Например, в «Толковом словаре живого великорусского словаря» В. И. Даля (IV, 622) читаем: «*шарпан* каз. узкий чувашский холст, сорпán (отсюда *серпянка*?) || часть черемисского бабьего убора; вдвое сложенная ширинка на затылке». Однако слова *сорпán* на своем месте в Словаре нет, отсюда трудности в географическом разграничении понятий и слов (ср. также *сарафán*).

В некоторых случаях оказывается затруднительным точно определить путь заимствования, как это произошло со словом *шафран*, которое этимологическая традиция возводит к арабскому زعفران *за'фаран* через западное посредство (нем. *sáfran*)⁴⁹. Действительно, начальное *ш-* в русском слове может быть обязанным германскому посредству, хотя ударение *шафрán* этому противоречит и скорее наталкивает на мысль о болгарском посредстве, которое объясняет не только начальное *ш-*, но и ударение на последнем слоге вместе с оглушением начального согласного *з-*. Во всяком случае для окончательного решения вопроса о путях движения слова потребуются дополнительные историко-лексикологические разыскания.

В некоторых отдельных случаях бывает трудно установить время и место изменения *s > š*; например, пришедшее в русский язык французское *chagrin* и устар. *sagrin* (ср. также нем. *Chagrinleder*) и превратившееся в нем в *шагрень* (устар. *шагрин*) «осля кожа, от заду, или лошачья, выделанная рябо, зернисто; кордуан, хоз.» (Даль IV, 612), несомненно, связано с древнетюркским названием кожи *saγu* 'кожа, особенно со спины', отмеченным уже у Махмуда Кашгарского, а также у Абу-Хайяна, Ибн Муханны, в половецком и турецком языках, но уже со значением 'спина лошади'. Ср. также казах. *saγu*, тат. *saγu*, тел. *saγu* 'задняя часть лошадиной спины, крестец', монг. (по «Калм. словарю» Г. И. Рамстедта, стр. 319) *sagari* 'круп, кожа на бедрах; шагрень' > маньчж. *sagin*⁵⁰. Сохранение *g* во французском языке, вероятно, свидетельствует о раннем изменении *s > š*. Впрочем, возможно и иное объяснение этого перехода, только необходимо точно проследить путь миграции термина, что явится задачей исторической лексикологии и этимологии целого ряда языков с учетом и лингвистических данных по принципу «слова и вещи».

Во всяком случае приходится учитывать, что на тюркской почве зафиксированы лишь формы с начальным *s-*, а не с начальным *š-* или даже *č-*, как предполагается в этимологических словарях М. Р. Фасмера (тур., чагат. *šaγu* «Rückenhaut») или А. Доза (тур. *šagri*)⁵¹. Г. И. Рамстедт отмечает также персидско-афганскую форму *saγari* при калмыцкой *sāri*,

⁴⁹ М. Vasmer. Указ. соч., стр. 380. Автор отстаивает западную этимологию, хотя ей противоречит гиперизм *чафрánт* в воронежских говорах, отмеченный В. И. Далем.

⁵⁰ См.: М. Räsänen. Указ. соч., стр. 393.

⁵¹ М. Vasmer. Указ. соч., стр. 365; А. Dauzat. Dictionnaire étymologique de la langue française. Paris, 1938, стр. 156.

$\bar{s}\bar{a}g^{52}$. Сюда же следует отнести русское сибирское *савры* 'тебеньки седельные, кожаные подколенники у седла' (*Даль* IV, 127).

Известную трудность представляет объяснение возникновения конечного *-n* во французском языке при отсутствии его в других языках.

М. А. Рясянен в своем «Опыте этимологического словаря тюркских языков» при учете тюркских форм (лишенных у него исчерпывающей полноты) довольно часто привлекает тюркские заимствования, вошедшие в другие языки. Тюркизмы русского языка занимают в его «Опыте» значительное место, хотя большой русский материал далеко не всегда им используется. Подготовленный в Институте языкознания АН СССР первый том «Этимологического словаря тюркских языков» Э. В. Севортяна закономерно делает упор прежде всего на систематизацию и осмысление исключительно тюркского материала. Тюркизмы русского языка и здесь подаются выборочно, что связано с неразработанностью вопроса о тюркском вкладе в русское языке. В настоящее время под руководством Н. А. Баскакова ведется большая подготовительная работа по созданию инструкции для составления историко-этимологических словарей тюркизмов в восточнославянских языках, а также пишутся образцы словарных статей, что даст новый материал и для исторического изучения тюркских языков.



⁵² G. J. Ramstedt. Kalmückisches Wörterbuch (Lexica Societatis fenno-ugricae, III).

Helsinki, 1935, стр. 319. Возможно, сюда же относится чувашское $\bar{s}ur\bar{g}a$ 'шкурка, очищенная от шерсти' (Н. И. Ашмарин. Словарь чувашского языка, вып. XVII. Чебоксары, 1950, стр. 241), которое М. Р. Федотов (Исторические связи чувашского языка с языками угро-финнов Поволжья и Перми, I. Чебоксары, 1965, стр. 155) предположительно выводит из русского *шкурка*, что маловероятно, а М. А. Рясянен сопоставляет с шорским $\bar{s}ar\bar{y}\bar{a}n$ 'позумент' (М. Räsänen. Die tschuwassischen lehnwörter im tscheremissischen. Helsinki, 1920, стр. 206), что тоже маловероятно, ибо шорское $\bar{s}$ здесь, вероятно, восходит к с-. Из чувашского языка заимствовано марийское *шарга* 'кожа'.

Ф. А. ГАНИЕВ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОНЕТИЧЕСКОГО СПОСОБА СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ

Фонетический способ словообразования в современном татарском языке является непродуктивным. Однако в прошлом этот способ, как показывают факты истории тюркских языков, сыграл определенную роль в словообразовании. Отсюда ясно, что предметом современного исследования фонетического словообразования в тюркских языках являются не столько живые модели и приемы словопроизводства, сколько структуры слов, образованных в прошлом посредством фонетического изменения.

В тюркологии фонетическое словообразование изучено недостаточно. Среди специалистов существуют различные точки зрения на конкретные приемы и средства фонетического словообразования. Следует подчеркнуть, что многие утверждения тюркологов по данному вопросу нуждаются в соответствующем обосновании и доказательствах. Кроме того, ряд исследований по фонетическому словообразованию, по нашему мнению, содержит ошибочные положения.

Во-первых, некоторые лингвисты относят звукоподражательные слова к фонетическому способу словообразования. Так, слова *ха-ха-ха* (звукоподражание громкому смеху), *ah-vah* 'ахи-охи' К. С. Сабировым¹ рассматриваются как результат фонетического способа словообразования, тогда как указанные слова образовались в результате словосложения (парные слова). Они и по структуре и по способу образования ничем не отличаются от таких парных слов, образованных словосложением, как *туруг-туруг* (подражание звукам пляски) и *şart-şort* (звукоподражание треску ломающихся предметов).

Вообще следует заметить, что звукоподражательные слова не имеют никакого отношения к фонетическому способу словообразования.

Во-вторых, многие языковеды, исследующие фонетический способ словообразования в тюркских языках, слова типа *gajnatmä* 'мясной отвар' и *gajnatma* 'не кипятит' (туркменский язык), *tugmä* 'пуговица' и *tügmä* 'не завязывай' (узбекский язык), *bülmä* 'комната' и *bülmä* 'не дели' (татарский язык) считают возникшими на основе фонетического словообразования (см. труды П. А. Азимова, А. Н. Кононова, К. С. Сабирова). В действительности же здесь никакого фонетического словообразования нет. Первые из противопоставляемых слов являются существительными, образованными от глагольных основ при помощи ударных аффиксов

¹ К. С. Сабиров. Фонетик ысул белән сүз ясалышы. — Журн. «Совет мәктәбе», 1970, № 5, стр. 34.

та/тă; вторые же представляют собой спрягаемые формы глаголов, т. е. формы повелительного наклонения глаголов в отрицательном аспекте, показатель которого в тюркских языках никогда не принимает на себя ударения. Приведенные выше образования являются типичными омографами².

В-третьих, некоторыми языковедами разноместность ударений в словах *bátur* 'топй' и *batúr* 'герой', *kága* 'смотри' и *kaǵa* 'черный', *áşuk* 'торопись' и *aşúk* 'альчик' рассматривается как прием фонетического словообразования³.

В действительности же указанные слова являются классическими омографами, ничего общего не имеющими с фонетическим словообразованием. Каждое из противопоставляемых слов имеет свою парадигму изменения.

С другой стороны, эти слова невозможно возвести к одному и тому же источнику ни по морфемному составу, ни по семантике. Поэтому в указанном случае трудно усмотреть фонетическое развитие от одного слова.

В-четвертых, также вызывает возражение отнесение заимствованных разноударных слов *akadémik* 'академик' и *akadémík* 'академический', *téxnik* 'техник' и *texník* 'технический' к фонетическому словообразованию⁴. В данном типе слов место ударения обусловлено закономерностями не тюркских языков, а языка-источника.

При заимствовании же указанных существительных и прилагательных место ударения не изменяется, ибо эти слова заимствуются через письменный язык, где действует принцип сознательного регулирования языковых процессов, по которому русские заимствования в тюркских языках принимаются в графическом оформлении и произносительной норме языка-источника. При этом у прилагательных происходит усечение суффиксов, что имеет место и в европейских языках, например, отпадение латинских суффиксов *um* и *us*.

Татарскими исследователями установлены следующие приемы фонетического словообразования в татарском языке: 1) опущение звука или звуков; 2) прибавление звука или звуков; 3) палатализация основы; 4) перенос ударения; 5) чередование отдельных звуков основы.

Мы остановимся только на первых двух приемах.

I. Прием опущения звука или отдельных звуков. При образовании нового слова у исходного слова выпадает какой-либо звук или звуки. При этом за исходным словом сохраняется первоначальное значение, а новое слово, образованное путем фонетического изменения, приобретает иную (новую) семантику.

Такую дифференциацию значения мы наблюдаем в словах, различающихся между собой с точки зрения структуры только фонетически: *izgelek* 'святость' и *igelek* 'доброта', *olug* 'великий' и *oly* 'большой', *tugru* 'верный' и *tyru* 'прямой'. Вторые слова, как указывается исследователями, развились из первых слов путем опущения звука⁵.

Разграничение значений слов *olug* и *oly*, *tugru* и *tyru* произошло недавно. Еще в начале XX века в татарском литературном языке слово *olug* имело также значение «большой», *tugru* — значение «прямо», «пря-

² Омографами считает их также Дж. Киекбаев (см.: Ж. Ф. Киекбаев. Хэзерге башкорт телендә лексикаһы һәм фразеологияһы. Өфө, 1966, стр. 63—64).

³ См.: Г. Аларов. Сайланма хезмәтләр. Казан, 1945, стр. 74.

⁴ См.: А. Н. Кононов. Грамматика современного узбекского литературного языка. М.—Л., 1960, стр. 56, 104.

⁵ См.: Ф. С. Фасеев. Татар телендә терминология. Казан, 1969, стр. 120.

мой». Приведем примеры: *Без, олуг юлдан зерылып, куе агачлыкка керен киттек* (Ф. Амирхан) 'Мы свернули с большой дороги и вошли в густую рощу'. *Кучерга тугры почтага тотарга куштым* (Г. Ибрагимов) 'Кучеру велел держать прямо на почту'.

Следует отметить, что иногда этот фонетический прием образования новых слов в татарском литературном языке применяется сознательно, с целью разграничения значений. Так, например, значения слов *oxşaw* — *oşaw* и *açu* — *äçe* в диалектах, а зачастую и в разговорном языке, не дифференцируются. В литературном же языке в настоящее время намечается тенденция закрепления за словом *oxşaw* значения «быть похожим», за словом *oşaw* — значения «нравиться»; за *açu* закрепляется значение «горький», а за *äçe* — «кислый».

Прием опущения звука или звуков встречается также в арабско-персидских заимствованиях. Некоторые из заимствований в татарском языке выступают в фонетических вариантах, разнящихся между собой и по своему лексическому значению. В качестве примера можно привести следующие заимствования:

^v xazät	'нужда'	и	^v äzät	'долг',
gamäl	'действие'	и	ämäl	'способ',
xäzer	'сейчас'	и	äzer	'готовый',
xägäm	'запретный'	и	ägäm	'попусту, зря'
mäynä	'значение'	и	mäne	'толк'.

Вместе с тем в татарском языке имеются и такие заимствования, которые, выступая в разных фонетических вариантах, не разнятся по своей семантике, например: *gazar* 'мучение' и *azar* 'мучение', *sägät* 'часы' и *sät* 'часы' и др. Однако к фонетическому словообразованию относятся только те пары заимствований, которые варьируются не только фонетически, но и по значению. Указанные новые слова, возможно, образовались в результате заимствования слов в разные периоды или же посредством разговорного и письменного языков. Они могли также образоваться в результате проникновения арабско-персидских заимствований в татарский язык не прямо, а через посредство других языков.

Приведенные факты свидетельствуют о том, что в современном татарском языке образование новых слов путем опущения звука или звуков является живым, но малопродуктивным процессом, который для некоторых слов еще окончательно не завершился.

II. Прием прибавления звука или отдельных звуков. Данный прием татарскими лингвистами отмечается как продуктивный. Обычно в качестве примера приводят следующие слова: *sagala* 'подстергать', *kinderä* 'бечевка, шнур', *çitaga* 'незаконный доход' и др. По мнению исследователей, эти слова образовались соответственно от основ *sakla* 'охранять', *kinder* 'холст, полотно' и *çitag* 'клепки' фонетическим способом⁶. Возможно, рассматриваемые образования имеют какую-либо связь с указанными основами. Но конкретных доказательств этого никем из лингвистов не приводится. Так, глагол *sagala* 'подстергать' скорее всего образован от слова *sakla* 'охранять' не путем простого прибавления звука *a*, ибо в данном случае звук *a*, на наш взгляд, является результатом деглютинации аффикса многократности *ak* (как), встречающегося в многократных глаголах мишарского диалекта татарского языка: *bargakla* 'изредка ходить', *kilgäklä* 'изредка приходить'. Опрошенный аффикс многократности встречается также и в казахском языке: *beregän kolum alagan* 'дающая

⁶ Ф. С. Фасеев. Указ. раб., стр. 120.

часто моя рука есть и часто берущая (щедрому отвечаю щедростью)', опрошение аффикса *gak* (*gäk*) — *kak* (*käk*) имеет место и в грамматике Ибн Муханны: *alagan* 'часто берущий', *bigägän* 'часто дающий' и т. д.⁷

По нашему мнению, аффикс *ak* (*äk*') в слове *sagala* в своем развитии превратился в звук *a* и несколько изменил значение этого слова, которое, однако, не потеряло живой связи с прежним своим значением.

Существительные *kinderä* и *čitağa* кажутся на первый взгляд образованными от слов *kinder* и *čitağ* при помощи звука *a* (*ä*). Однако в приведенных словах элемент *a* (*ä*) может быть не только звуком, но и значимой частью — словообразовательным аффиксом. Например, в татарском языке показатель *a* (*ä*) в качестве словообразовательного аффикса встречается в глаголах.

Среди существительных также имеется значительное количество слов, имеющих в конце основы элемент *a* (*ä*): *čata* 'вилка (деревянная)', *täkä* 'баран', *döjä* 'верблюд', *türä* 'чиновник', *čürgä* 'дрожжи', *čiga* 'раб', *urta* 'середина', *ägza* 'ящик', *toğna* 'журавль', *kükša* 'сойка' и др. Весьма возможно, что в некоторых из указанных выше слов элемент *a* (*ä*) является мертвым словообразовательным аффиксом. Поэтому отнесение образования слов *kinderä* и *čitağa* к фонетическому способу исследователями достаточно не аргументировано.

Некоторыми татарскими лингвистами ряд слов, образованных, бесспорно, при помощи аффиксов, рассматривается как результат прибавления звука или отдельных звуков. Так, К. С. Сабиров относит глаголы *jotlyk* 'поперхнуться', *maпču* 'макать', *tuzgu* 'взьерошиться (о волосах)', *tözä* 'прицелиться' к образованиям, полученным фонетическим способом от основ *jot* 'проглотить', *maп* 'красить (о ткани)', *tuz* 'разлететься', *töze* 'строить'⁸.

Исследованиями видного татарского лингвиста Ш. А. Рамазанова давно доказано, что приведенные выше слова образованы не фонетическим, а морфологическим способом⁹. Аффиксы *ä*, *ču*, *gu*, *lyk*, как известно, в свое время были весьма продуктивными. Они встречаются также в составе других слов (например, в словах *totlyk* 'заикаться', *özlek* 'заболеть повторно', *tirče* 'метать', *ugyu* 'прыгать' и др.). В настоящее время эти аффиксы стали мертвыми.

К. С. Сабиров утверждает, что глаголы *bögärlä* 'мнуть' и *tibär* 'оттолкнуть' образовались соответственно от глаголов *bögü* 'сгибать' и *tibü* 'пинать' фонетическим способом, т. е. прибавлением звуков *är*¹⁰. Однако элемент *är* в данных словах представляет собой не простой звуковой комплекс, как это полагает К. С. Сабиров, а значимую морфему. Данный аффикс встречается и в других производных глагольных основах. Например, глаголы *čugaг* 'вывести', *kaјtar* 'возвратить' образованы соответственно от корней *čuk* 'выйти', *kaјt* 'возвратиться'. Вообще, аффикс *ar* (*är*) не чужд глагольной системе татарского языка. Он может образовывать новые глаголы и от именных основ: *bäs* 'иней' → *bäsär* 'покрыться инеем', *süs* 'пакля' → *süsär* 'лохматиться, измочалиться'. Все эти примеры показывают, что элемент *ar* (*är*) является значимой морфемой татарского языка.

⁷ П. М. Мелиоранский. Араб-филолог о турецком языке. СПб., 1900, стр. IX.

⁸ К. С. Сабиров. Указ. раб., стр. 35.

⁹ Ш. А. Рамазанов. Татар телендә фыгыльләр ясалышы. — В сб.: «Татар теле буенча очерклар». Казан, 1954, стр. 153, 155, 160, 168.

¹⁰ К. С. Сабиров. Указ. раб., стр. 35.

Интересно отметить, что все приводящиеся татарскими языковедами примеры на образование слов путем прибавления звука или звуков оказываются связанными с совершенно другими лексико-грамматическими явлениями. В них наблюдаются морфологическое переразложение, аффиксальное словообразование, опрощение отдельных элементов и т. д., но нет тех фонеморфологических противопоставлений, которые говорили бы в пользу фонетического способа словообразования посредством прибавления звуков.

Таким образом, в татарском языке не существует фонетического способа словообразования путем прибавления звука или звуков. Татарскому языку, как одному из последовательно агглютинативных языков, подобная флективность не была свойственна в прошлом, не свойственна она ему и в настоящее время.

Ш. Х. АКБАЕВ

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕТОД В ТЮРКОЛОГИИ И ГЕНЕЗИС БАЛКАРСКОГО ЦОКАНЬЯ

Предпосылкой использования сравнительно-исторического метода в изучении тех или иных языков является признание их генетического родства, обусловленного существованием праязыка. Сравнительно-исторический метод, полностью оправдавший себя в индоевропеистике, успешно применяется и в тюркологии, хотя здесь использование его имеет ряд особенностей, связанных со спецификой истории и структуры тюркских языков.

В настоящей статье предпринята попытка объяснить посредством сравнительно-исторического метода происхождение балкарского цоканья.

Явление цоканья в малкарском диалекте карачаево-балкарского языка заключается в том, что шипящие аффрикаты $\check{c}$ и $\check{z}$ с северо-западного диалекта и литературного карачаево-балкарского языка регулярно преобразуются в свистящие — c и z .

В прошлом делались попытки объяснить появление цоканья в балкарской речи влиянием соседствующего осетинского языка, для которого это явление характерно¹.

В. И. Абаев пишет: «Осетинское влияние чувствовалось в языке здесь (в малкарском диалекте. — Ш. А.) сильнее, чем в других ущельях. Оно сказалось не только в лексике, но и в фонетике: верхнебалкарский (малкарский. — Ш. А.) говор был цокающим. Остальным балкаро-карачаевским говорам цоканье было чуждо, но зато оно очень характерно для осетинского»².

Подобное объяснение, основанное лишь на факте соседства двух языков, к тому же неродственных, без сравнительного сопоставления этих языков между собой и с другими тюркскими языками, не может быть убедительным.

Рассмотрение малкарского цоканья в сравнительно-историческом плане дает совершенно иную картину.

Сопоставление соответствующих фактов показывает, что цоканье в осетинском языке и малкарском диалекте — явления не однородные: осетинский не различает шипящие и свистящие вообще, тогда как в мал-

¹ См.: Н. А. Караулов. Краткий очерк грамматики горского языка «болкар». — СМОПЖ, вып. 42, ч. 3, 1912, стр. 2; В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор. М. — Л., 1949, стр. 274; *его же*. О происхождении фонемы $y(h)$ в славянском. — «Проблемы индоевропейского языкознания». М., 1964, стр. 116.

² В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор, стр. 274.

карском диалекте четко различаются такие шипящие и свистящие, как $\check{s} \sim s$, ср. *baš* 'голова' — *bas* 'дави, наступи', *aš* 'пища' — *as* 'вешай', *kuš* 'зима' — *kus* 'дави, жми, вяжи', *bašxa* 'к голове, другой' — *basxa* 'грабли'.

Кроме того, в малкарском диалекте отсутствует характерная для осетинского языка свистящая аффриката $\underset{v}{dz}$, аффрикате $\underset{v}{z}$ соответствует в нем фрикативный $\underset{v}{z}$, иначе говоря, $\underset{v}{z}$ совпал со старым $\underset{v}{z}$, ср. *zol* 'дорога', *zeg* 'земля'.

Уже эти факты могут поставить под сомнение вывод В. И. Абаева. Известно, что от шахматовской интерпретации севернорусского цоканья как польского наследия в речи словен и кривичей отказались именно на том основании, что в соответствующих польских говорах вообще не различаются свистящие и шипящие, между тем как в севернорусских цоканяющих говорах не различаются лишь свистящие и шипящие аффрикаты³, хотя реальных возможностей для взаимовлияний между родственными польским и русским языками было гораздо больше, нежели между неродственными осетинским и карачаево-балкарским. При этом еще следует учесть, что в отличие от лексического взаимовлияния различных языков возможности фонетической субституции чрезвычайно ограничены.

Исходя из изложенного и следуя методу «расширяющихся кругов», предложенному Р. Раском, и рекомендации А. Х. Востокова о необходимости сравнения материалов не только живых, но и мертвых языков, устанавливаем следующее.

Малкарское цоканье имеет параллель в кругу близкородственных куманских языков, например, в галицком диалекте караимского языка. Эту черту таких близкородственных языков, как карачаево-балкарский и караимский, несомненно, следует объяснять генетическими причинами и рассматривать как продукт пракуманской эпохи.

Однако тюркское цоканье не ограничено пределами только куманских языков: как явление диалектное оно встречается в мишарском диалекте татарского языка, в языке барабинцев, чулымских тюрков, в диалектах огузских языков, например, в ордубадском диалекте и джебраильском говоре азербайджанского языка. Этот «расширенный круг» отодвигает источник цоканья значительно глубже пракуманской эпохи.

Такой вывод подтверждается тем фактом, что цоканье характерно не только для некоторых диалектов современных живых языков, но было распространено и в древних, ныне мертвых, тюркских языках, например хазарском⁴.

Если исходить из признания широких возможностей фонетической субституции и рассматривать цоканье в тюркских языках как явление, привнесенное извне, то для каждого цоканяющего тюркского диалекта необходимо установить влияющий нетюркский язык, каким, по мнению В. И. Абаева и Н. А. Караулова, для карачаево-балкарского является осетинский. Приведенные выше факты и доводы, хотя и не решают проблемы генезиса малкарского цоканья, все же позволяют поставить вопрос о неправомерности подобных утверждений.

Подлинную историческую перспективу проблема приобретает при рассмотрении явления цоканья в составе рядов закономерных чередований:

³ В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. Историческая грамматика русского языка. М., 1963, стр. 87.

⁴ Н. А. Баскаков. Введение в изучение тюркских языков. М., 1968, стр. 238.

1) $\check{c} \sim \check{s} \sim c \sim s$,

2) $z \sim \check{z} \sim z \sim s \sim \check{\theta} \sim d' \sim \check{c} \sim n \sim$ ноль звука.

Таким образом, из частного вопроса карачаево-балкарской фонетики цоканье становится общетюркской проблемой, и тем самым снимается вопрос о фонетической субституции, ибо ничем не оправдано перенесение одного из членов ряда чередований в плоскость иноязычного влияния, тогда как любой член ряда может быть объяснен как результат чисто фонетических процессов, происходивших в разное время как в отдельных языках и диалектах, так и в недрах тюркского праязыка. Естественно предположить, что каждый из приведенных членов ряда чередований восходит соответственно к своему архетипу. Задача состоит в том, чтобы восстановить эти праформы и объяснить их расщепление, вскрыть сложные дивергентные процессы, установить относительную хронологию и, где возможно, иерархию архетипов.

Каковы же эти архетипы? А. М. Щербак для первого ряда восстанавливает $*\check{c}$, для второго — межзубный глухой $*\check{\theta}$. На наш взгляд, логичнее реконструировать аффрикаты: $*c$, $*\check{c}$, так как только в этом случае фонетически и фонологически объяснимы те процессы, в результате которых не только сложилась современная система соответствий, но и возникли отдельные факты, «нарушающие» эту систему.

Первоначальным толчком к изменению архетипов, вероятно, послужила тенденция к упрощению аффрикат. Причину появления этой тенденции следует видеть в спирантизирующем влиянии гласного окружения и диссимилятивном воздействии последующих взрывных. Для начала слова интервокальное положение создается в речевом потоке, когда слово с начальной аффрикатой следует за словом с исходом на гласный. Поскольку смычка как способ артикуляции для гласного невозможна, аффрикаты в указанном положении могли ее утратить. Таким образом, сначала спирантизация аффрикат представляла позиционное изменение, но затем спранты могли установиться как типовые звуки, употребляемые в любой позиции. Для таких языков, как башкирский, хакасский, якутский, отчасти чувашский, характерно $*c > s$; для диалектов, легших позже в основу карачаево-балкарского, киргизского, казахского, каракалпакского, ногайского, татарского языков — $*c > \check{c}$, в дальнейшем

$*\check{c} > z$, чтобы избежать лексической и формальной омонимии, например:

$*cal$ 'седой' — $*\check{c}al$ 'грива'; $*cal > \check{c}al$ и $*\check{c}al > zal$. В карачаево-балкарском, киргизском, отчасти татарском и некоторых других языках процесс на этом завершился. В казахском, каракалпакском, ногайском, отчасти тувинском и шорском процесс пошел дальше: под воздействием вышеуказанной тенденции аффрикаты упростились. В тувинском и шорском $*c > \check{c}$, $*\check{c}$ сохранился, поэтому упростился новый $\check{c} (> \check{s})$. В диалектах, составивших основу казахского, каракалпакского и ногайского $*c > \check{c}$ и соответственно $*\check{c} > z$; на следующем этапе новый $\check{c} > \check{s}$, $z > \check{z}$, но так как в языке был старый $\check{s}$ и не было старого $\check{z}$, то $*\check{s}$, вытесненный новым $\check{s}$, изменился в s , а $\check{z}$ сохранился. По-разному сложилась судьба аффрикат и в тех языках, в которых $*c > s$ без перехода в $\check{c}$ (см. выше). В хакасском процесс ограничился переходом $*c > s$, в якутском были упрощены обе аффрикаты: $*c > s$, $*\check{c} > \check{s}$, при этом старый $\check{s}$ выпал. Позднее новый $\check{s}$ ($< *c$) был заменен свистящим s ($*\check{c}ol > \check{s}ol > suol$ 'дорога'), в силу этого старый s_1 подвергся выпадению; $*s_2 > \check{s}$. Что касается башкирского, то появление нового s ($< *c$) вызвало изменение ста-

рого *s > h(з). В алтайском з упростился в d'. В малкарском, мишарском, отчасти в говорах азербайджанского языка на месте *š имеем z, в чувашском — ʃ. Что касается всех огузских языков, кумыкского, караимского, башкирского, отчасти ногайского, татарского, узбекского, уйгурского, то в них старому *š соответствует j, который является конечным результатом изменения *š. Отсутствие его в начале слова в тюркском праязыке убедительно показал А. М. Щербак⁵, объяснивший также появление п в этой позиции ассимилятивным воздействием носовых согласных последующих слогов, ср. саг. пап 'сторона'⁶.

Убедительным аргументом в пользу древности (может быть, первичности) с может считаться наличие отдельных слов со свистящим s, отвечающим общетюркскому š в таких языках, для которых нормой является š, ср. азерб. saš 'волосы' ~ карач.-балк. šaš ~ малк., караим., мишар., бараб., тобольск., чулым. *сас*. Еще более убедительные показания дает азерб. sušap 'мышь' ~ карач.-балк. šušap ~ малк. *сусхап* ~ казах. *tyškaп*. Начальные звуки подобных слов в разных языках и диалектах могут рассматриваться как результат различных изменений *с.



⁵ А. М. Щербак. Сравнительная фонетика тюркских языков. Л., 1970, стр. 79.

⁶ Там же, стр. 160.

А. Н. КОНОНОВ

ВИКТОР МАКСИМОВИЧ ЖИРМУНСКИЙ КАК ТЮРКОЛОГ

Со смертью Виктора Максимовича Жирмунского, последовавшей 31 января 1971 г., филологическая и лингвистическая наука потеряла выдающегося ученого-энциклопедиста, а знавшие его лишились общества незаурядного человека, в котором гармонично сочетались многие человеческие достоинства.

Острую боль утраты переживают тюркологи: из их семьи ушел крупнейший ученый, по-новому осветивший многие сложные проблемы тюркского эпоса, тюркского стиха и тюркской диалектологии.

* * *

В. М. Жирмунский родился в Санкт-Петербурге в семье доктора медицины Максима Савельевича Жирмунского¹.

По окончании Тенишевского училища (1900—1908), одного из лучших в ту пору петербургских средних учебных заведений, В. М. Жирмунский поступил на историко-филологический факультет С.-Петербургского университета, где занимался изучением германской и романской филологии и истории русской литературы (1908—1912).

По окончании университета В. М. Жирмунский был оставлен при нем для подготовки к профессорскому званию и получил командировку в Германию (Мюнхен, Берлин, Лейпциг) для совершенствования в германской и английской филологии.

По возвращении в 1914 г. из Германии В. М. Жирмунский сдал магистерские экзамены и осенью 1915 г. был зачислен в Петроградский



¹ Биобиблиографические сведения почерпнуты из кн.: «В. М. Жирмунский». Вступительная статья П. Н. Беркова. Библиография составлена Р. И. Кузьменко. — «Материалы к биобиблиографии ученых СССР». М., 1965.

университет в звании приват-доцента кафедры романо-германской филологии.

Осенью 1917 г. В. М. Жирмунский был избран профессором и заведующим кафедрой романо-германской филологии историко-филологического факультета Саратовского университета; здесь он в течение двух лет читал лекции по истории немецкого языка и западноевропейских литератур.

С осени 1919 г. В. М. Жирмунский — профессор кафедры германской филологии Петроградского университета.

С этого времени в течение тридцати лет В. М. Жирмунский читал в Петроградском, а затем Ленинградском университете общие и специальные курсы по истории немецкого и английского языков, по истории немецкой и английской литератур, по теории литературы, поэтике, фольклористике.

В 1924 г. В. М. Жирмунский защитил в Ленинградском университете докторскую диссертацию — «Байрон и Пушкин».

В. М. Жирмунский активно участвовал в работе почти всех ленинградских гуманитарных учреждений, являясь сотрудником Государственного института истории искусств (1920—1930), Научно-исследовательского института сравнительного изучения литератур и языков Запада и Востока (1921—1935), Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена (1923—1931, 1954—1956), Государственного института языкознания (1931—1935), Института языка и мышления АН СССР (1934—1935), Института литературы АН СССР (1935—1950), Института языкознания АН СССР (1957—1971) и др.

Начав с исследования немецкого романтизма, В. М. Жирмунский в 20-х годах перешел к изучению поэтики; в это время им были опубликованы работы: «Композиция лирических стихотворений» (1921), «Поэзия А. Блока» (1921, 1922), «Рифма, ее история и теория» (1923), «Введение в метрику» (1925) и др.

В середине 20-х годов В. М. Жирмунский приступил к изучению диалектов, фольклора и этнографии немецких колонистов в России (Украина, Крым, Закавказье), язык и устно-поэтическое творчество которых до него не привлекали внимания ученых.

Изучение диалектов немецких колонистов в России переросло в исследование немецких диалектов Германии; этот цикл исследований завершился изданием в 1956 г. капитального труда «Немецкая диалектология», переведенного на немецкий язык (1962).

Параллельно с изучением немецкой диалектологии В. М. Жирмунский занимался историей немецкого языка. В 30-х годах им были опубликованы работы: «Развитие строя немецкого языка» (1936), «История немецкого языка» (1938), выдержавшая четыре издания и ставшая настольной книгой германистов.

Стремление к развитию сравнительно-исторического литературоведения, расширению исследовательского горизонта подсказало В. М. Жирмунскому мысль о необходимости изучения нового материала, таящегося в эпических произведениях народов Востока.

Эвакуировавшись в ноябре 1941 г. из осажденного Ленинграда в Ташкент, В. М. Жирмунский активно включился в его научную и педагогическую жизнь. В течение трех лет он занимал должность профессора филологического факультета Среднеазиатского государственного университета (САГУ) им. В. И. Ленина, директора научно-исследовательского историко-филологического института при САГУ, профессора и заведующего кафедрой Ташкентского государственного педагогического

института. В Институте языка и литературы АН Узбекской ССР В. М. Жирмунский заведовал отделом фольклора, руководил на общественных началах секцией иностранных языков Высшего учебно-методического совета при Наркомпросе Узбекской ССР.

За выдающиеся научные и педагогические заслуги и плодотворную общественную работу в годы Великой Отечественной войны В. М. Жирмунский был удостоен почетного звания Заслуженного деятеля науки Узбекской ССР.

Едва устроившись в Ташкенте, В. М. Жирмунский со свойственной ему энергией принялся за изучение узбекского языка и штудирование специальной тюркологической литературы, ознакомился с узбекским героическим эпосом, в чем ему охотно помогал знаток узбекского фольклора Х. Т. Зарифов.

Позднее, в Ленинграде, в целях углубления и расширения своих познаний в тюркских языках В. М. Жирмунский в течение пяти лет (1945—1950) активно участвовал в занятиях тюркологического семинара, руководимого С. Е. Маловым.

В результате длительных и целенаправленных усилий В. М. Жирмунский овладел необходимыми познаниями в тюркских языках, обстоятельно изучил специальную тюркологическую литературу, уделяя особое внимание изучению тюркского героического эпоса.

Виктор Максимович воплощал в себе редко встречающееся сочетание литературоведа и языковеда, выдающегося знатока западноевропейского эпоса и эрудированного тюрколога, успешно специализирующегося в изучении героического эпоса тюркских народов.

До В. М. Жирмунского изучение тюркского фольклора не выходило за рамки материала памятников фольклора тюркских народов. Сравнительное изучение тюркского эпоса, как правило, ограничивалось сопоставлением версий, обнаруженных в национальной эпической традиции отдельных тюркских народов. В. М. Жирмунский подошел к изучению тюркского эпоса с принципиально иных позиций. В его исследованиях эпические традиции Запада и Востока предстали как две ветви единого культурно-исторического процесса.

«Основной предпосылкой сравнительной истории литературы, — писал В. М. Жирмунский, — являются единство и закономерность общего процесса социально-исторического развития человечества»².

На основе глубоких знаний фактического материала и творческого применения марксистско-ленинской методологии В. М. Жирмунский дал четкое определение предмета исследования: «Эпос — это живое прошлое народа в масштабах героической идеализации. Отсюда его научная историческая ценность и в то же время его большое общественное, культурно-воспитательное значение»³.

Свои научные изыскания в области тюркского эпоса В. М. Жирмунский начал с изучения узбекского народного эпоса, что определялось его пребыванием в годы войны в столице Узбекистана.

В 1943 г. в «Новом мире» была напечатана статья В. М. Жирмунского «Узбекский народный героический эпос (Критико-литературный обзор)»⁴. В том же году был опубликован первый опыт исследования жемчужины узбекского эпоса — «Алпамыша» (в кн.: «Алпамыш. Глава из поэмы». Ташкент, 1943), к которому он потом неоднократно возвра-

² В. М. Жирмунский. Народный героический эпос. Сравнительно-исторический очерк. М.—Л., 1962, стр. 5.

³ Там же, стр. 195.

⁴ «Новый мир», 1943, № 12, стр. 127—133.

щался (1944, 1949, 1957, 1959)⁵, закончив этот цикл исследований книгой: «Сказание об Алпамыше и богатырская сказка» (М., 1960, 355 стр.).

Изучение эпического творчества узбекского народа было представлено книгой «Узбекский народный героический эпос» (М., 1947), написанной В. М. Жирмунским в соавторстве с Х. Т. Зарифовым.

Эта книга была задумана и выполнена как монографическое исследование, в котором узбекский эпос анализировался во всех его частных проявлениях.

В целях расширения объекта исследования В. М. Жирмунский обращается к эпическому творчеству других тюркских народов. Он принимается за изучение грандиозного по охвату событий киргизского эпоса «Манас».

Итогом исследования этого памятника являются работы В. М. Жирмунского: «Введение в изучение Манаса» (1948, 1961), «Новые материалы о киргизском эпосе Манас» (1960), представляющие собой существенный вклад в историю изучения тюркского героического эпоса. Затем внимание и интерес В. М. Жирмунского устремляется к памятнику огузского героического эпоса — эпическим сказаниям об огузских богатырях, получившим известность в письменной обработке XVI в. под названием «Книга моего деда Коркута».

Начало изучению «Книги моего деда Коркута» в России положил В. В. Бартольд, сделавший полный перевод этого замечательного памятника, но опубликовавший в оригинале и переводе лишь четыре песни из двенадцати, составляющих это произведение.

Мысль об издании полного русского перевода, выполненного В. В. Бартольдом, с необходимыми историческими, филологическими, фольклористическими комментариями принадлежала А. Ю. Якубовскому (1886—1953). Однако он не успел осуществить это свое намерение.

В. М. Жирмунский, которого А. Ю. Якубовский имел в виду привлечь к совместному изданию «Книги моего деда Коркута» в переводе В. В. Бартольда, осуществил (вместе с автором этих строк) новое издание⁶. В это издание входят, кроме перевода, статьи В. В. Бартольда и А. Ю. Якубовского, а также большое монографическое исследование В. М. Жирмунского «Огузский героический эпос и „Книга Коркута“».

Этому исследованию предшествовали предварительные изыскания, изложенные в статьях: «Следы огузов в низовьях Сыр-Дарьи» (1951), «„Китаби Коркут“ и огузская эпическая традиция» (1958)⁷, «Исторические источники сказания о разграблении дома Салор-Казана» (1962).

Продолжая и развивая свои исследования в обширной области тюркского героического эпоса, В. М. Жирмунский пристально следил за всеми новыми публикациями. Его откликом на новые издания является обстоятельная рецензия «Новое о Кёр-оглы»⁸.

Последним объектом его исследования явилось сказание о Едигее. На третьей Тюркологической конференции, состоявшейся в Ленинграде 2—4 июня 1969 г., В. М. Жирмунским был прочитан доклад «П. М. Ме-

⁵ См.: Материалы к биобиблиографии ученых СССР. М., 1965.

⁶ Книга моего деда Коркута. Огузский героический эпос. Перевод академика В. В. Бартольда. Издание подготовили В. М. Жирмунский, А. Н. Кононов. Серия: «Литературные памятники». М.—Л., 1962. Первое издание перевода В. В. Бартольда осуществили Г. М. Араслы и М. Г. Тахмасиб: «Деде Коркут. Перевод акад. В. В. Бартольда». Баку, 1950.

⁷ Эти две статьи переведены на турецкий язык и опубликованы в журнале Турецкого исторического общества: *Belleten*, с. XXV, № 99, 1961, Анкара, стр. 471—483; *Belleten*, с. XXV, № 100, 1961. Анкара, стр. 609—629.

⁸ По поводу книги: Б. А. Каррыев. Эпические сказания о Кёр-оглы у тюркоязычных народов. М., 1969.

лиоранский и изучение эпоса „Едигей”, переработанный впоследствии в большую статью⁹.

Творчески и целеустремленно изучая эпос тюркских народов, В. М. Жирмунский как истинный исследователь подводил итоги сделанному, стремясь обобщить в этой области пройденный путь и определить основные проблемы. Эта тема получила развитие в пространной статье «Некоторые итоги изучения героического эпоса народов Средней Азии» (1958) и в докладе «Сравнительное изучение героического эпоса народов Средней Азии», прочитанном на XXV Международном конгрессе востоковедов (Москва, 1960).

К циклу работ по сравнительному изучению тюркского эпоса принадлежит монография «Эпические сказы и сказители Центральной Азии — Epic songs and singers in Central Asia», опубликованная в книге: *Oral Epics of Central Asia* by Nora K. Chadwick and Victor Zhirmunsky. Cambridge, 1968.

Общим вопросам литературного процесса и истории культуры посвящена содержательная статья В. М. Жирмунского: «Алишер Навои и проблема Ренессанса в литературах Востока» (1967).

Глубокое изучение памятников тюркского героического эпоса в соединении с его давними и основательными познаниями в области эпоса славянских, германских и романских народов позволило В. М. Жирмунскому обратиться к сравнительному изучению эпических сказаний Востока и Запада.

Первым опытом разработки этой темы явился доклад (а затем статья) «Литературные отношения Востока и Запада как проблема сравнительного литературоведения», идеи которого развивались в другом его докладе «Проблемы сравнительного изучения народного героического эпоса».

Подведению итогов сравнительно-исторического изучения героического эпоса народов Востока и Запада посвящена книга В. М. Жирмунского «Народный героический эпос. Сравнительно-исторические очерки» (1962).

Глубокий интерес к теории стиха, которой В. М. Жирмунский посвятил ряд исследований еще в начале своей научной деятельности (20-е годы), естественно привел его к изучению тюркского народного стиха и написанию работ: «О некоторых проблемах теории тюркского народного стиха» («Вопросы языкознания», 1968, № 1; «Тюркологический сборник, 1970»), «Орхонские надписи — стихи или проза?» («Народы Азии и Африки», 1968, № 2).

В течение последних примерно двадцати лет советские тюркологи перешли к всестороннему исследованию многочисленных проблем тюркской диалектологии. После длительного периода собирания диалектных материалов, начало которому в 60-х годах прошлого столетия положил В. В. Радлов, возникла настоятельная необходимость в переходе от диалектографии к диалектологии. Одной из первоочередных задач советской тюркологии явилось создание диалектологического атласа тюркских языков СССР.

В. М. Жирмунский, обладавший глубокими познаниями в области сравнительной диалектологии (вспомним его капитальный труд «Немецкая диалектология»), принял активное участие в обсуждении проблем тюркской диалектологии; его воззрения на эти проблемы изложены в трех статьях: «О диалектологическом атласе тюркских языков Советско-

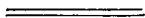
⁹ Принята в «Тюркологический сборник, 1972».

го Союза» (1963), «О некоторых вопросах лингвистической географии тюркских диалектов» (1966), «Записка о тюркском атласе»¹⁰.

Хорошо зная и широко используя в своих лингвистических исследованиях материалы фонетики и грамматики тюркских языков, В. М. Жирмунский обратил внимание на одну из кардинальных проблем морфологии тюркских языков и в работе «Развитие категорий частей речи в тюркских языках по сравнению с индоевропейскими языками» (1945) предложил весьма плодотворное ее решение.

Тюркологические труды В. М. Жирмунского с полной очевидностью свидетельствуют о том, что в его лице наша наука имела выдающегося специалиста-тюрколога, труды которого войдут в золотой фонд науки и будут достойным памятником его таланту и трудолюбию, его поэтической увлеченности научным творчеством.

«...Человек умирает — имя остается» — эта тюркская поговорка как нельзя лучше применима к Виктору Максимовичу Жирмунскому: его имя, имя ученого и педагога, преданного своей Родине гражданина, благородного и цельного человека сохранится в истории науки и в памяти всех тех, кому посчастливилось знать его и работать рядом с ним.



¹⁰ См.: Журн. «Советская тюркология», 1971, № 1, стр. 119—120.

ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Х. КОРОГЛЫ

ПЕСНИ КОРКУТА

В середине XVIII в. немецкий ученый Рейске обнаружил в Дрезденской королевской библиотеке рукопись под названием *کتاب ددم قورقوت علی لسان طائفه اوغوران* («Книга моего деда Коркута на языке племени огузов»). Это было подлинным открытием, давшим миру еще один шедевр народно-поэтического творчества. Рукопись, включающая двенадцать сказаний, сохранила для потомства древнейшие мифы, легенды и эпические традиции огузов¹.

Созданная в эпоху раннего средневековья, «Книга» сохранила немало архаизмов, отражающих лексику периода разложения первобытно-общинного строя. Период, нашедший отражение в большинстве сказаний, совпадает со временем походов Сельджукидов (XI в.). Посвященные описанию ратных подвигов военно-кочевой аристократии, эти сказания в значительной мере отразили стремления и чаяния рядовых кочевников-скотоводов. О народном характере памятника свидетельствуют пронизывающий его боевой патриотический дух, воспетые в нем героизм и единодушие огузов, с которым они защищают свой иль от посягательств внешних врагов.

Народность памятника проявляется также во внимании, уделяемом в нем жизни простых людей, в стремлении отразить их традиции и быт. Благодаря этой особенности «Книга» донесла до наших дней обширную информацию этнографического характера. Анализ отдельных сказаний позволяет выявить наиболее существенные особенности бытового уклада, образа мыслей и характера древних огузов.

Во Введении к эпосу дается любопытная характеристика древней огузской женщины:

«Женщины бывают четырех родов: одни — наводящая бледность рода, другие — как шар, в вечном движении, третьи — опора дома, четвертые — хуже всего, что бы ты ни сказал».

К основным достоинствам женщины-жены древние огузы относили ее умение заменять мужа в его отсутствие и выполнять обязанности главы семьи. Жена должна была быть гостеприимной, встречать даже случайного гостя так, как это сделал бы ее муж, будь он дома. В этом видели проявление ее заботы о престиже мужа. Такой достойной жене

¹ Книга моего деда Коркута. Огузский героический эпос. Перевод В. В. Бартольда. М.—Л., 1962. Там же библиография (в дальнейшем «Книга»).

противопоставлялась жена расточительная, сварливая, вечно недовольная своим мужем и домом:

«До зари она встает со своего места, еще не умыв рук и лица, выматривает девять пирожков и хлеб, одну бадью кислого моложа, набивая рот, ест доотвала, подбоченься, говорит: «С тех пор, как я пришла в этот дом, — да разрушится он! — в моем желудке не было сытости, на моем лице не было улыбки, моя нога не видела башмака, мое лицо — чадры. О, как было бы хорошо, если бы умер этот муж, вышла бы я за другого, а он оказался бы лучше, чем я ожидала».

Примечательно, что специфика речи ворчливой женщины-простолюдники в какой-то мере характерна для некоторых необразованных сельских жительниц начала нашего века. То же самое можно сказать и об окраске речи женщины-неряхи, бездельницы, под различными предлогами отлучающейся из дома, а за беспорядок в своем доме упрекающей соседей, обвиняя их в невнимании и равнодушии. При этом свои претензии к соседям она основывает на распространенной и по сей день поговорке: «Долг перед соседом — равен долгу перед богом».

Подобная характеристика огузской женщине дана лишь во Введении и принадлежит анонимному составителю, хотя он и ссылается на Коркута. Что же касается текстов самой «Книги», то в них нашли отражение лишь положительные женские черты, охарактеризованные соответственно с нормами устно-поэтической традиции, не подвергшейся влиянию литературы, в особенности официально-мусульманской. Правда, ни на одном из советов огузских беков присутствие женщины не отмечено. Но это соответствует распространенной в ту пору традиции: женщина — не советчица в ратных делах.

Обычай (адат) не позволял огузским женщинам перечить мужу, в особенности в присутствии гостя, и «Книга» предостерегает мужчин от подобной женщины и жены. Огузская женщина всегда предана семье, никогда не желает зла мужу, если даже он поступает с ней дурно. Обо всем этом говорится в Первом огузнаме.

Здесь женщина характеризуется и оценивается лишь с точки зрения ее отношения к семье. Судя по всему, это было главным для автора, что обусловлено той ролью, которую играла женщина-хозяйка в доме мужа в условиях кочевого быта. Она по существу сохраняла положение второго лица в семье. Но примечательно и то, что, судя по «Книге», женщина у древних огузов еще не полностью утратила те права, которыми пользовалась при матриархате. Нередко, например, вопреки феодальным обычаям, не спросив у мужа, она седлала коня и в сопровождении «сорока девиц-наездниц» отправлялась наравне с мужчинами в боевой поход или спешила на выручку к мужу и сыну и т. д. Её относительная независимость видна из приводимых в «Книге» диалогов между женой и мужем. Например, в Первом огузнаме Дирсехан, обиженный Байындырханом, упрекающим его в бездетности, ищет утешения и сочувствия у жены. Свою обиду он не вымещает на беззащитной женщине, как это можно было ожидать от средневекового феодала, наоборот, его обращение к подруге полно грусти и нежности:

«Приди сюда, счастье моей головы, опора моего жилища.
О ты, которая, когда выходишь из дома, стройна, как кипарис.
Ты, чьи черные косы обвиваются вокруг лодыжек,
Чьи соединенные брови подобны натянутому луку,
Чьи уста тесны для пары миндалей,
Чьи щеки подобны осенним яблокам.
Незрелая дынька моя,
Знаешь ли ты, что случилось?».

Однако по мере того, как Дирсехан рассказывает об обиде, нанесенной ему в доме Байындырхана, в нем постепенно закипает гнев, и он начинает вести себя, как подлинный феодал, несдержанный в ярости муж — полновластный глава семьи. Меняются, конечно, и характер и окраска его речи.

Однако все же в «Книге» доминируют традиции кочевой жизни: к словам женщины прислушиваются, считаются с ее советами, от которых нередко зависит дальнейшая судьба героев.

С развитием феодальных отношений и переходом к оседлой городской жизни огузская женщина постепенно утрачивает свои права и становится безропотной и покорной исполнительницей воли и капризов не только мужа, но и всех мужчин в семье. Это новое положение женщины нашло яркое отражение в более поздних новеллистического характера дастанах, посвященных городской жизни.

Огузская женщина в «Книге» — любящая, заботливая мать, жена и сестра. Жены беков обращаются к своим мужьям не иначе как:

«Зять моего отца — хана, любимец моей государыни — матушки».

Нередко это обращение к мужу носит и более ласковый характер:

«Ты, кого я, открыв глаза, увидела,
Ты, кого я, отдав сердце, полюбила».

И мужчина в «Книге», за редким исключением, столь же ласково обращается к жене. Все это свидетельствует о традиционно добрых устоях, на которых покоилась древнеогузская семья.

В «Книге» имеются указания на то, что отношения между людьми нередко зависели не столько от их материального положения, сколько от наличия детей. При этом предпочтение отдавалось детям мужского пола. Если у кого-либо нет сына, то он должен иметь хотя бы дочь, которая продолжит род и унаследует хозяйство. Проклятие бога лежит на том, кто бездетен. Такой человек не достоин уважения ни близких, ни посторонних людей. Мотив бездетности является основной завязкой почти всех дастанов. Но в дастанах бездетность — это личное семейное горе, в «Книге» же бездетности придается характер общественного зла. Очевидно, это диктуется заботой о сохранении власти в одном роду или племени. Бездетный родитель задабривает бога раздачей милостыни и другими добрыми делами. Этот мотив широко представлен в новеллистических дастанах азербайджанцев, туркмен и других народов Ближнего Востока и, очевидно, восходит к древнейшему обычаю жертвоприношения богам. У тюркоязычных народов традиция задабривания бога путем раздачи милостыни нуждающимся отмечается в письменной литературе с XI в., например в «Кутадгу билиг» Юсуфа Баласагуни.

В «Книге» с достаточной отчетливостью отразился чисто мусульманский обычай — раздача *закята* нуждающимся, чьи молитвы якобы скорее доходят до бога.

Как и во всех новеллистических дастанах, в «Книге» ребенок воспитывается не матерью, а няней, что также является одним из атрибутов феодального быта. Однако и в этой детали нашло отражение различие между городской знатью и феодалами-кочевниками: важным элементом воспитания юного вельможи в новеллистических дастанах считалось образование, которое он получал в школах (*мектеб*), начиная с семилетнего возраста. Беки же «Книги» не определяли своих детей в школу.

У древних огузов мужа для девушки выбирали родители. Об этом свидетельствуют и слова, обращенные к Казану его женой:

«...ты, кого мне дали отец и мать».

При этом она произносит еще одну фразу, подчеркивающую девичью чистоту говорящей:

«...кого я, открыв глаза, увидела».

Обычай изоляции девушки и молодой женщины от общества мужчин сохранялся до последнего времени у азербайджанцев, туркмен и, пожалуй, многих других тюркоязычных народов, среди приверженцев старого уклада жизни. В строго патриархальных семьях девушка не имела права показываться на людях с открытым лицом, это могло запятнать ее честь. Подобный обычай возник под прямым влиянием ислама, вместе с которым вошла в быт и чадра. Любопытно, что большинство сельских женщин — азербайджанок и туркменок уклонялось от обязательного ношения чадры. Вместо нее они пользовались *яшмаком* — тонкой косынкой, закрывающей нижнюю часть лица до глаз. В «Книге» женщины тоже носят подобную косынку, под тем же названием — *яшмак*. В Четвертом огузнаме говорится, что Бурла-хатун накинула «соболю шубу на свои плечи» выходя навстречу мужу, который, разумеется, пришел не один. Подобное поведение характерно для женщин и во всех других аналогичных ситуациях. Когда Бамсы-Бейрек случайно забрел во владение Бану-Чичек (III огузнаме), последняя приняла его, незнакомого мужчину, прикрывшись лишь яшмаком. Вероятно, огузские девушки сохраняли определенную степень свободы и в какой-то мере даже могли общаться с незнакомыми мужчинами.

В «Книге» приводится много бытовых деталей и поныне сохранившихся у потомков огузов. Узнав о пленении своего сына, Бурла-хатун говорит:

«Впустить ли мне черные ногти в мое белое лицо» (IV огузнаме).

Очевидно, огузские женщины истязали себя, оплакивая потерю близких. Многие необразованные азербайджанки, туркменки и турчанки и теперь еще истязают себя подобным образом, оплакивая смерть близких, при этом они обязательно ходят разутыми. Корни и этой традиции уходят в глубокую древность, о чем свидетельствуют слова той же Бурла-хатун:

«Или сбросить мне, Казан, башмак со своей ноги?».

Примечательно и то, что Бурла-хатун, оплакивая своего сына, называет его «верблюжонком». Этим же ласкательным словом называют своих детей и современные туркменки. В причитаниях Бурла-хатун нашли отражение особенности кочевого быта огузов. Все ее сравнения взяты из лексики кочевников-скотоводов, хотя она не простая женщина, а жена главного бека, дочь самого хана. Она говорит:

«Рядами прошли здесь красные верблюдицы,
Прошли здесь и их верблюжата с ревом,
Моего верблюжонка я лишилась,
Реветь ли мне?
Прошли здесь казылыкские кони,
Прошли и их жеребята со ржанием,

Моего жеребенка я лишилась,
Ржать ли мне?
В стадах прошли здесь белые бараны,
Прошли и их ягнята с бляением,
Моего ягненка я лишилась,
Блеть ли мне?»

Вообще причитания Бурла-хатун, с которыми перекликаются аналогичные причитания потомков огузов, относятся к наиболее ярким поэтическим страницам «Книги». Особенно современно звучит финал:

«Я говорила, что поднимусь и встану с места,
Я говорила, что сяду на своего черногривого казылыкского коня,
Я говорила, что войду в орду Большого огузского иля,
Я говорила, что возьму светлоокою девушку-невесту,
Я говорила, что поставлю на черной земле свои белые шатры,
Я говорила, что пойду и введу сына в большой свадебный шатер,
Я говорила, что дам ему достигнуть предмета своих желаний».

Одним из заветных стремлений современных азербайджанок, туркменок и турчанок также является такой выбор невесты для сына, чтобы он «достиг предмета своих желаний» (азербайджанки говорят: «*mygadyna jetsin*»), и сыграть для него свадьбу. Самое тяжелое горе для родителей — это если сын их умрет «не достигнув своих желаний». О нем говорят: «*mygadyna jetmädi*» или «*namygrad oldu*».

У азербайджанцев считается пределом бедности, если кто-либо пьется ячменным хлебом. В древности им кормили пленных и батраков: «Сказать ли [твоей матери], что пища твоя ячменный хлеб и горький лук?» (IV), — спрашивает Казан своего сына, зная, что это причинит его матери большое горе. Среди азербайджанцев сохранилась до наших дней часто повторяющаяся в «Книге» фраза, которая произносится обычно перед смертью или долгой разлукой:

«Пусть моя мать не попрекнет меня своим белым молоком».

* *

*

Традиционными у древних огузов считались общественные пиры и приемы. В «Книге» приводится их описание. По два пира в году устраивал Байындырхан. В нем участвовали все беки огузского иля. Это были, очевидно, протокольные приемы государственного значения, на которых обсуждались дела огузов, и главное — беки получали возможность собраться и обменяться мнениями. Такой же протокольный характер носили пиры, устраиваемые бейлербейи Салор-Казаном. Однако пиры последнего, согласно описаниям «Книги», отличались большей развлекательностью. Как правило, после пиров Салор-Казана, на которых обильно угощались вином, беки отправлялись продолжать веселье на охоту. Пир Казана во многом напоминает аналогичные угощения, устраивавшиеся ближневосточными феодалами и вельможами в городских дворцах: мехи и кувшины с вином, золотые чарки, «черноокие дочери гяуров», разносящие гостям красное вино, — всего этого кочевая аристократия огузов не знала до прихода в соприкосновение с городской культурой соседних оседлых народов. Ни в одном из древнетюркских памятников нет упоминания об употреблении тюрками-шаманистами или буддистами красного вина. Это и понятно, ибо на их древней родине

отсутствовала культура винограда, и на пирах (например, в Первом огузнаме или в уйгурской рукописи «Огузнаме») хмельным напитком был преимущественно кумыс. В древнетюркских памятниках нет упоминаний и о том, что золотые чарки с вином преподносились девушками. Этот обычай также заимствован огузами «Книги» на своей новой родине. Наоборот, известно, что виночерпиями (саги) у тюркских хаканов и шахов из тюркских династий были красивые отроки, как, например, Аяз у Махмуда Газневида (XI в.). Эта традиция нашла отражение и в туркменском эпосе «Гёр-оглы» (а также в азербайджанском и турецком «Кёр-оглу»), в котором красавец-отрок Айваз нередко выполняет обязанности виночерпия, хотя формально он и усыновлен героем.

«Девушки-гяурки» в «Книге» красят хной кисти рук и ногти. Подобный обычай и ныне сохранился среди определенной части азербайджанок. Однако он отсутствовал у древних тюрков. Заимствование этого обычая у иранцев Средней Азии исключено, так как упоминание о нем не встречается ни в одном из тюркских эпических памятников, кроме «Книги», причем примечательно, что и в последней хной пользуются не женщины-огузки, а пленницы из «гяуров».

Хан или бейлербейи устраивали пиры также по различным поводам, имеющим отношение ко всему илю, например, в честь военной победы, перед походом и т. п. Эти традиции огузы принесли с собой на Кавказ и в Малую Азию, о чем свидетельствуют источники (уйгурская рукопись «Огузнаме», сообщения Рашид-ад-дина и др.).

По-видимому, протокольные пиры устраивались исключительно для военной аристократии. В письменных памятниках, в том числе и в «Книге», нет упоминания о простых людях, принимавших участие в этих торжествах. Так, Сельджукиды в Малой Азии, задумав поход, извещали «...об этом пограничных беев письмами. Когда огузы собирались, султан устраивал для них традиционный пир (شیلان), на котором резали баранов. Это было старое национальное торжество, справляющееся и при вступлении султана на престол, — так сказать, обрядовый стол, за которым представители огузских племен получали кусок жертвенного мяса, определенный тюре»².

Следы бытовавшего права «тюре» находим в Первом огузнаме, но более четкое отражение в «Книге» нашло право «местничества», которому уделяется много внимания во всех памятниках, относящихся к древним огузам. Так, Эгрек (X) заслужил упрек беков за то, что часто нарушал право «местничества», садясь на приемах не на то место, которое соответствовало его рангу.

Помимо протокольных пиров огузы устраивали и семейные торжества, например, «освещение» первого подвига молодого героя. Когда сын Казана (IV) отправляется на первую охоту, его мать велит зарезать лучших верблюдов и баранов для пира. То же самое делает и жена Дирсехана (I):

«„Это — первый выезд на охоту моего сыночка“, — говоря так, она велела зарезать лучших жеребцов, верблюдов и баранов». «„Дам той бекам храбрых огузов“, — сказала она».

Этот обычай восходит, очевидно, к обряду жертвоприношения у приверженцев шаманизма, при котором, кстати, жертвенное животное обязательно должно было быть самцом.

² В. А. Гордлевский. Государство Сельджукидов Малой Азии. — Избр. соч., т. I. М., 1960, стр. 80.

Характер семейного торжества носил и пир, устраиваемый по поводу инициации (наречения сына именем после того, как он совершил первый свой подвиг). Это — традиция ранней стадии цивилизации, получившая широкое распространение и среди древних тюрко-монгольских народов³. Так, отец Бамсы-Бейрека (III) спрашивает у купцов, которых выручил его сын, отбив их товары у грабителей:

«...проявил ли он геройство настолько, что пора уже дать ему имя? — Да, мой султан, даже больше, — сказали они».

В Первом огузнаме сын Дирсехана, достигнув пятнадцатилетнего возраста (т. е. возраста совершеннолетия, как отмечается во многих новеллистических дастанах), победил быка; присутствовавшие на ристалище беки предложили:

«Пусть придет... дед Коркут, пусть даст этому юноше имя, пусть пойдёт с ним к его отцу, пусть выпросит юноше у его отца бекство. Пусть [отец] даст [ему] престол и эль».

Обряд инициации сопровождался выделением герою бекских прав и доли имущества, очевидно, в счет будущего наследства. Коркут приводит перечень требований, предъявляемых, видимо, согласно существующим традициям:

«О Дирсехан, дай этому молодцу бекство,
Дай престол, он достоин.
Дай скакуна с длинной шеей,
Пусть он ездит на нем, он доблестен.
Дай из своих стад тьму баранов этому молодцу,
Будут ему на еду, он достоин.
Из рядов дай красных верблюдов этому молодцу,
Пусть они служат для выюков, он доблестен.
Дай златоверхое жилище этому молодцу,
Пусть оно даст ему тень, он достоин.
Дай кафтан с вышитой птицей на плечах этому молодцу,
Пусть он наденет его, он доблестен».

Все перечисленное относилось, по-видимому, к атрибутам бекской власти. Среди них на первом месте стоит конь, сохранявший огромное значение и в позднейшие времена, например в дореволюционной Туркмении.

Получив бекство, молодой герой вступал в число огузских беков. Вероятно, сплоченность всех беков вокруг хана (Байындыра) была нерушимой. Даже обиженный Дирсехан (I) после рождения сына сам возвращается в иль. Однако эта сплоченность не исключала возможности борьбы за власть. Наиболее яркое отражение эта борьба нашла в последнем (XII) сказании «Книги». В Первом же сказании Бугач, получив самостоятельность, замышляет захват власти в пределах рода.

Весьма значительный интерес с этнической точки зрения представляют описания развлечений беков. Согласно «Книге», их главным развлечением была охота — одна из древнейших традиций тюркских каганов и вельмож (см. уйгурскую рукопись «Огузнаме»). Примечательно, что в сказаниях «Книги» охоте приданы некоторые чисто кавказские осо-

³ Среди алтайских и енисейских тюрков существовал обычай: после рождения ребенка его звали по имени племени и лишь после первого подвига в сражении он получал собственное имя. — Богатырские поэмы минусинских татар. СПб., 1856, стр. 66; Этнографический сборник, 1858, стр. 89.

бенности. На одном из пиров «обильно выпитое вино ударило в голову Салор-Казана, сына Улаша», и он предложил своим соратникам отправиться на охоту:

«Поймите меня, беки! Выслушайте мое слово, беки! От долгого лежания заболел наш бок; от долгого стояния иссох наш стан; поедем же, беки, устроим охоту, выловим птиц, поразим ланей и диких коз; вернемся, расположимся в своих шатрах, станем есть, пить и весело проводить время».

Аналогичный образ жизни ведут огузские беки и Кавказского плато. Занимаясь скотоводством, они, по свидетельству «Книги», вели мирную, беззаботную жизнь. Развлекались они обычно охотой. В этом отношении «Книга» сильно отличается от эпоса «Кёр-оглу» («Гёр-оглы»), в котором герой и его «сорок дружин» заполняли свой досуг бесконечными набегами на владения пашей и на караваны.

«Книга» отмечает бытовавшую традицию боя крупных домашних животных, устраивавшегося два раза в году:

«Один раз весной, один раз осенью [они] верблюда заставляли биться с быком. Байындырхан с беками огузов смотрел на зрелище и веселился».

Для подобных зрелищ имелось и специальное ристалище, называемое *آغ میدان* («Белая площадь»)⁴. Оно находилось перед шатром хана и, вероятно, принадлежало ему:

«Этот молодец сражался на Белом ристалище Байындырхана, убил быка», —

сообщает Коркут отцу героя. Мы не знаем, присутствовали ли на этом своего рода театрализованном зрелище простые кочевники. Судя по фразе в финале эпизода («Байындыр с беками огузов смотрел на зрелище и веселился»), можно предположить, что подобного рода «коррида» предназначалась лишь для военно-кочевой знати.

* * *

Хотя «Книга» в целом оформилась в период раннего феодализма, однако в её сказаниях встречаются своеобразные реликты различных этапов первобытно-общинного строя. Это свидетельствует о протяженности во времени процесса создания огузских эпических памятников.

Верхушку примитивного государственного устройства, именуемого «огуз эли», составляли беки. Номинально имелся и хан — глава государства. Верховная власть формально была сосредоточена в двух диванах — Байындырхана и Казана. Однако каждый бек имел собственные владения и свою дружину. Когда Байындырхан или Казан созывали беков всего иля, они ставили для них шатры. Вот описание одного из этих приемов:

«Байындырхан, сын Кам-гана, встал со своего места, велел поставить на черную землю свой златоверхий белый шатер. Алый зонт

(*آسنش*) его высился (*سایه بان* от персидского *صیوان*) до небес».

В этом описании много деталей быта огузской знати. Так, хан Байындыр, т. е. верховный правитель, созывая беков, ставил для себя белый шатер и поднимал зонт, «высившийся до небес», — символ его вла-

⁴ Название «Белая площадь» встречается еще два раза — в Четвертом и Одиннадцатом огузнаме. И в обоих случаях о ней говорится как об общественном месте.

сти. Можно представить себе такую картину: обширная территория перед шатром хана застелена дорогими коврами для беков, а хан восседает перед своим белым шатром под зонтом. Белый цвет также символизировал ханскую власть. Беки (в том числе Казан) ставили только черные шатры. Однако вряд ли беки всегда пировали под открытым небом. Когда пиры устраивались Казаном, им ставились для гостей шатры:

«Велел поставить на черную землю свои девяносто златоверхих шатров, велел разложить на пятидесяти местах пестрые шелковые ковры».

Большое значение имело и то, по какую сторону от хана садился бек. Очевидно, бóльшим почетом и преимуществами пользовались те беки, которых сажали справа. Так, сын Казана, освободивший отца из плена, удостоивается чести сидеть справа от Байындыхана. Такое распределение мест в диване верховных правителей огузов, отмеченное и в других источниках, сохранялось и в государстве Сельджукидов Малой Азии⁵.

В сказаниях «Книги» образ Байындыхана не несет сюжетной нагрузки. В Первом огузнаме он фигурирует только в экспозиции. В дальнейшем действие развивается уже без него. В Третьем огузнаме описание его ставки и данного им для беков Внутренних и Внешних огузов приема также является своеобразной экспозицией к сказанию, в котором роль Байындыхана весьма пассивна. То же самое можно сказать о Восьмом и Десятом огузнаме. В Пятом и Шестом огузнаме он вовсе не упоминается, а во Втором, Четвертом, Девятом и Двенадцатом — Байындыхан фигурирует лишь в качестве тестя Казана.

Тем не менее беки на приемах, собираясь заговорить или выступить с предложением, целуют хану руку, преклонив перед ним колена, и только после этого испрашивают его согласия на выступление против «гяуров» (X). Казан определяет место каждого бека в своем шатре соответственно его боевым заслугам. Дети беков, достигшие совершеннолетия и после первого совершённого ими подвига удостоившиеся получения имени, допускаются на приемы Байындыхана и включаются в его дружину. Диван Байындыхана, подобно двору феодалов, руководит всей деятельностью огузских беков. Сюда они сходятся, чтобы решать важнейшие дела. В «Книге» отсутствуют какие-либо даже незначительные факты, порочащие имя номинального повелителя. Однако в огузском иле того времени в среде беков «свободная личность» доминирует над вассальной покорностью. Хану Байындыру очень часто приходится считаться с мнением своих беков, прислушиваться к их разумным советам. Своенравные беки в иных случаях осмеливаются даже не скрывать своей обиды на хана и покидать его ставку (I и IX).

Наиболее колоритным является образ Салор-Казана. Этот образ присутствует во всех сказаниях (кроме V и VI), а в четырех из них (II, IV, XI, XII) является главным действующим лицом. Казан официально занимает положение бейлербеи при хане Байындыре, однако он при этом ведает наравне с ним всеми делами иля. Походы совершаются с его разрешения. Он присутствует на всех приемах, и от его воли зависит многое. Беки Внешних и Внутренних огузов относятся к нему с неменьшим почтением, чем к самому Байындырхану. В тех сказаниях, сюжеты которых непосредственно связаны с деятельностью Казана, Байындыхан вовсе отсутствует. Так, например, в описанном во Втором огузнаме эпизоде увода «гяурами» в плен дочери Байындыхана, жены Казана,

⁵ В. А. Гордлевский. Указ. соч., т. I, стр. 80.

сам Байындыр не принимает никакого участия, как бы оставаясь в неведении об этом.

Правда, судя по описаниям «Книги», беки жили в отдалении друг от друга. Может быть, этим объясняется также и то, что Байындырхан отсутствует и в цикле сказаний о Казане. Широкая трактовка образа Казана, наделение его большими полномочиями могут быть объяснены тем, что Казан — зять хана. Однако главное все же, по-видимому, заключается не в этом: скорее всего, образ Казана восходит здесь к его историческому прототипу. В пользу такого предположения говорит и указание Абулгази:

«Жил... Казан-алп триста лет спустя после нашего пророка. На старости лет отправился в Мекку и, став хаджи, вернулся...». «И еще Салор-Казан жил в одно время с Коркут-ата [из иля] Кайы»⁶.

Время жизни Казана, указанное Абулгази, подтверждают почти все источники. Казан как вождь салорского иля упоминается в ряде туркменских эпических памятников, например в «Гёр-оглы», «Юсуп и Ахмет» и др.

В «Книге» Казан — бейлербейи, т. е. главный бек всего иля огузов. Эта должность засвидетельствована в ряде тюркоязычных памятников, в частности в «Кутадгу билиг» (XI в.), в котором она представлена как самая высокая у древних тюрков. В те отдаленные времена она могла сложиться под влиянием титула персидского царя «шахиншах» взамен древнейшего тюркского «каган», сохранившегося до последнего времени в трансформированном виде как «хан». Бейлербейи номинально подчинялся хану, однако в тексте «Книги» нет ни малейшего указания на то, что Казан в чем-то подчинялся Байындырхану. Фактически он обладает большей реальной властью, чем хан. Здесь сказалось, очевидно, древнее представление о должности бейлербейи (вероятно, приравнивавшейся ханской).

Немалое внимание в «Книге» уделяется и семье Казана: его жене Бурла-хатун, сыну Урузу, дяде по матери Арузу, брату Кара-Гюне и его сыну Кара-Будагу. Из перечисленных родственников и членов семьи Казана наиболее активным является его дядя по матери, Аруз-коджа, который в начале «Книги» входит в свиту Казана (II), а в конце ее выступает против своего племянника (XII). Все действия отколовшихся беков направлены только против Казана, который выступает в сказании единственным предводителем всех огузов. Байындырхан здесь отсутствует. Трижды говорится о сыне Казана Урузе. В первом случае он остается охранять юрты отца и попадает в плен к «гяурам» (II). Во втором случае вновь описывается сцена пленения юноши Уруза (IV). Только в одном сказании Уруз выступает как главный персонаж: он выручает отца из плена, проявив при этом большое мужество (XI).

Основную сюжетную нагрузку в сказаниях, внешне связанных с именем сына, несет опять-таки сам Казан. Символичен и образ Бурла-хатун. Она олицетворяет собой идеал средневековой женщины как в нравственном (II), так и в ратном (IV) отношении. В последнем она нередко превосходит даже самого Казана. Особенно привлекательна Бурла-хатун как нежная мать и преданная жена во Втором огузнаме. Таким образом, больше половины сказаний «Книги» посвящено одному лишь Казану, что также подчеркивает значение этого образа.

⁶ А. Н. Кононов. Родословная туркмен, сочинение Абулгази, хана Хивинского. М.—Л., 1958, стр. 71.

Казан — ведущий герой всего огузского эпоса. Однако кроме «Книги» этот образ больше нигде не встречается. Сохранились лишь отдельные фрагменты. Так, Абулгази включил в свой труд эпизод пленения матери Казана печенегами, но ничего не рассказывает о его ратных подвигах. Точно так же, восхваляя героизм Казана, Абулгази в подтверждение этого приводит лишь панегирик Коркута в его честь. Правда, у Абулгази имеются явные намеки на существование какого-то сказания о единоборстве Казана с Аждахой. На это единоборство намекает и сам Казан в Одиннадцатом огузнаме. Частое упоминание имени Казана в туркменском эпосе «Гёр-оглы» и в героическом дастане «Юсуп и Ахмет» также свидетельствует о популярности этого эпического героя среди огузов.

ТОПОНИМИКА, ЭТНОНИМИКА

А. ГУСЕЙНЗАДЕ

ОБ ЭТИМОЛОГИИ ТОПОНИМА КУБА

Топонимы, возникновение которых тесно связано с социально-историческими и политическими событиями, со всей жизнью народа, являются незаменимыми и достоверными историческими источниками. По меткому определению А. В. Суперанской, «географические названия — это, пожалуй, такая же материальная культура, как остатки первобытных жилищ, посуды, как монеты, кости и т. п.» (62, 58).

Недоступные в этимологическом плане, эти немые, на первый взгляд, реликты минувших веков, при умелом подходе к ним и квалифицированной расшифровке могут помочь в раскрытии многовековых тайн. Одним из не расшифрованных до сих пор географических названий является наименование города Куба, ныне районного центра Азербайджанской ССР.

Этимология этого топонима привлекала к себе внимание исследователей еще в конце XIX века, однако высказанные в этой связи предположения исторически и лингвистически не были обоснованы.

Первая попытка расшифровки названия *Куба* принадлежит кавказоведу П. К. Услару, указавшему на его общность с названием реки Кудял, протекающей в окрестностях города. П. К. Услар объяснял значение этого топонима, возводя его к лезгинскому *k'ved* 'два' и тюркскому *jäl* 'бугор' (10, 126), что, по его мнению, соответствует географическому рельефу города.

Несколько позднее К. Ф. Ган, исходя из того, что город расположен на куполообразной возвышенности, стал поддерживать широко распространенную в народе версию, интерпретируя топоним *Куба* как производное от арабского слова *kubbe* 'купол' (19, 88).

Подобное же толкование термина *Куба* встречается в народной легенде о возникновении города. По преданию, город был основан Надир Шахом (1736—1747) и с целью увековечения памяти о возведении здесь шахского шатра назван *kubbe* 'купол' (11, XII). Эту версию поддержал Ф. Кочарли (30, 277).

Еще в 20-х годах XX века М. Г. Бахарлы (11, XII) указывал на ненаучность подобного предположения. Однако в последнее время эта наивная версия вновь вкралась в литературу и выдается за новое в топонимических изысканиях (47, 33).

Совершенно иной позиции придерживается Ю. Юсифов. Относя этот термин к лексике иберо-кавказских языков, он предполагает, что название упоминаемого Птолемеем албанского города «Хобота» является прототипом названия «Куба» (68, 10).

Исходя из того, что этот топоним — одно из древнейших географических названий на территории Ширвана, В. Минорский выдвинул предположение о связи его с именем сасанидского царя и рассматривал как усеченную форму антропонима «Кубад» (45, 111).

Г. Гейбуллаев в своей интерпретации исходит из ландшафтных особенностей города. Основываясь на том, что город Куба расположен на берегу реки Кудял, он пытается возвести происхождение его названия к тюркскому слову *köbe* 'берег' (20, 3).

Таким образом, о происхождении этого топонима существует множество разнохарактерных и взаимоисключающих толкований, что вызывает сомнение в их достоверности.

Поскольку географические названия большей частью не возникают в изоляции (48, 34), нам кажется, нельзя осмыслить суть любого из них, «не зная его ареала» (49, 266). В связи с этим совершенно необходимо в каждом случае определить этот ареал с точки зрения современной топонимии СССР, а также выявить по документам прошлого его варианты. Только этим путем можно составить правильное представление о возникновении и развитии того или иного названия. Следует также критически пересмотреть существующие гипотезы о его происхождении.

На современной карте нашей республики топоним *Куба* имеет родственные варианты. Географические названия *Кубалы*, *Кубалыбалаоглан*, *Кубахэллили* (5, 157) и название ущелья *Кубадереси* имеют несомненную связь с интересующим нас топонимом.

Внимательное изучение географических карт указывает на то, что в различных районах нашей обширной страны имеется ряд ойконимов, оронимов и гидронимов, связанных с названием *Куба*.

Мы склонны считать, что основой таких сложных названий, как *Куба-даг* (находится поблизости от Красноводска) (55, 269; 58, 624) или *Куба-сангер* (название мыса в Туркменском заливе) (55, 269), имеют в основе слово *Куба*. Для полноты списка можно упомянуть еще ряд оронимов. В их числе два *Куба-тау*, находящихся на территории Каракалпакской АССР: один к северо-востоку от Кунграда, другой — на юго-запад от Мангыта (16, 28); *Куба-санти-баши* (59, 52), *Куба-таба*, *Куба-дайы* (51, 10), он же *Куба-далги* (34, 77) — в Кабардино-Балкарской АССР. Имеются и весьма характерные гидронимы: *Куба*, приток реки Катун в Алтайском крае (8, кар. № 69, Е-4), *Белая Куба* и *Соленая Куба* — реки, вливающиеся через реки Еруслан и Торгун в Волгу (15, кар. № 25, С-5); в озеро Кубенское на севере Вологды впадает река *Куба* (32, 166; 15, кар. № 20, Р-5). В этот список следует включить и ряд топонимов: *Кува* и *Куваса* в Ферганской области Узбекской ССР (8, кар. № 43, Б-2), *Куба-тас* в Казахской ССР (35, 80), *Кубинка* в Московской области (39, кар. № 12, Б-1), *Кува* и *Кува-тоба* в Кабардино-Балкарской АССР (46, 124).

Обращаясь к историческим картам страны, можно в определенной мере восстановить сферу распространения интересующего нас названия в прошлом. Это поможет определить его этническую (языковую) принадлежность и одновременно «документирует» его достоверность, ибо «топонимика только тогда становится надежным историческим источником, когда из нее берут не единичные факты, а такие, которые имеют более или менее широкое распространение» (36, 21).

В начале XX века в бывшей Бакинской губернии было зафиксировано шесть населенных пунктов, в названия которых входило *Куба*, в том числе четыре — *Кубали-кэнд*, два — *Кубали*; а в Дагестане зафик-

сирован один — *Куба* (51, 10). Согласно архивному документу XVI века, в «Карабагском Аране» протекала река *Куба* (52, 486)¹. В современном топонимии эти названия уже не сохранились.

Из исторических источников, таких, как «Худуд ал-алем» (64, 24а), Ибн Хаукал (27, 283), Якут Хамави (69, 24) и других, известно, что одним из цветущих и культурных городов средневековой Ферганы также был город *Куба*. На карте, приложенной Г. Ле Стрэнджем к его книге «Историческая география стран Восточного Халифата», этот город расположен юго-западнее Андукана (ныне Андижан) (38, 509+кар. № 9); по В. В. Бартольд же, он находился на месте современного населенного пункта *Кува* (13, 215) — центра одноименного района Ферганской области; в записках Бабура местоположение города *Куба* (9, 16б, 78а, 104а) почти что совпадает с данными Г. Ле Стрэнджа. Вполне возможно, что Абу Наср Ахмед б. Мухаммед ал-Кубави (XII в.), переводчик и продолжатель труда известного историка Наршахи (61, 92; 53, 97), был уроженцем этого города. Согласно тем же источникам, недалеко от этого города протекала река *Куба* (28, 184; 64, 96).

Особый вариант интересующего нас географического названия в сочетании с тюркским словом *каја* 'скала' имеется в источниках по истории монголов, как-то: в «Сказании о Чингисе» — «*Ху-ба-хай-я*» (57, 118, прим. 2), в «Сокровенном сказании» монголов — «*Хубахайа*» (33, 122) и в «Летописи Чингиз-хана», составленной Рашид-ад-дином, — «*Куба-кая*» (57, 118; 1, 62). Каждый из этих трех топонимов является вариантом различной транскрипции одного и того же географического названия на территории современной Монголии.

Историко-географический обзор позволяет обнаружить ряд фактов, упущенных авторами вышеизложенных гипотез этимологии этого топонима. *Куба* — одно из очень древних и широко распространенных географических названий. Сфера его распространения простирается от Монголии до средней полосы России с охватом Закаспийских областей, а также Ширвана и Северного Кавказа. Повсюду ему сопутствует его вариант — *Кува*, отличающийся от своей первичной формы лишь переходом фонемы *b* в *v*, что не противоречит фонетическим законам языков тюркской системы (66, 86).

Следует также отметить, что в начале XVIII века *Куба* была расположена «...у самой подошвы Ширванских гор» (29, 262), то есть в предгорье Шах-Дага², а на месте современного города, на берегу реки, стояла крепость Кудял (12, 19; 37, 41; 18, 97). Это географическое название на территории Ширвана существует издавна и в двух вариантах. В одном арабоязычном источнике XII века оно зафиксировано как *Кува* (41, 122а; 44, 132; 45, 111), а в другом источнике периода Сефевидов — как *Куббс* (29, 262), что является арабизированной формой *Куба*.

Поскольку из топонимической литературы известно, что значение географического названия не всегда соответствует характеру данного географического объекта (54, 96), то нет надобности останавливаться на неприемлемости каждого из существующих толкований этимологии слова *Куба*. Вряд ли оправдано и правомерно древнюю тополексеми *Куба*, имеющую такую значительную область распространения, рассмат-

¹ «ملك قرية خزاز من اعمال كوچز توابع اران قراباغ من كورة¹
آذربايجان مع حدود اربعة الحد اول ميشه جنگل كه در گردن كوه خزاز است
حدوم چشمه شهيد الدين ميروذ الى پشته قمشلو حدسيتم رودخانه قوبا...»
² «در كوه پايه شروان»

ривать изолированно от генеалогически близких названий, исходя лишь из ландшафта, ибо «если бы форма проявления и сущность вещей непосредственно совпадали, то всякая наука была бы излишня» (40, 830).

Допустим, что азербайджанский город *Куба* находился на берегу реки Кудял (хотя мы уже знаем, что топоним перенесен сюда в XVIII веке), или же что в населенном пункте Куба-тас в Казахстане имелся светлый камень и что благодаря именно этим особенностям и возникли упомянутые названия. В таком случае, как же объяснить возникновение других вышеперечисленных географических названий из ряда этого же топонима? Научная несостоятельность подобного предположения совершенно очевидна. Она чужда принципам историзма и не позволяет сочетать этимологию гидронима *Куба* из Алтайского края и средневекового Карабага с оронимами *Куба* и *Куба-санти-баши* из Каракалпакской АССР и Кабардино-Балкарской АССР.

Мы не склонны преуменьшать роль языкознания в изучении этого вопроса, «топонимическое исследование не может не быть лингвистическим» (31, 46), поскольку каждый из интересующих нас терминов является продуктом исторически конкретной языковой среды. Но вместе с тем без истории и смежных с ней дисциплин — географии, этнографии и т. д. — невозможно правильно установить происхождение какого бы то ни было топонима.

Очевидно, этимология такого географического названия, как *Куба*, должна распространяться на все известные под этим именем географические объекты, независимо от природных условий и окружающего их ландшафта.

Стремление к расшифровке этого топонима, исходя только из его семантики, вряд ли может привести нас к правильному решению, так как лексическое значение слова *Куба* не соответствует ландшафту вышеупомянутых географических объектов.

В известных нам словарях тюркских языков — Махмуда Кашгари (43, 163; 24, 217; 23, 372; 42, 236; 22, 373), Абу Хайяна [3, 68(80)], В. В. Радлова (56, 1034), русско-казахском словаре (60, 59) — *Куба* как прилагательное приводится в значении «смуглый», «светло-бурый», а у Л. С. Будагова — «буланный», «светло-желтый» (17, 69).

В азербайджанском языке это слово почти не встречается. Утратив свое прежнее значение «бурый», оно приобрело новый смысл — «дикий» и употребляется лишь в поэтической речи, и то в одном лишь сочетании: *kuba gaz* «дикий гусь» (4, 562).

Совершенно ясно, что ни один из этих смысловых вариантов удовлетворить нас не может.

У некоторых тюркоязычных народов, например уйгуров (25, 462), балкар (59, 52) и азербайджанцев, *Куба* является именем собственным, хотя столь распространенный топоним не мог произойти непосредственно от антропонима и захватить такой обширный ареал. Однако опосредствованно он вполне мог иметь к нему отношение, то есть путем преобразования в этноним мог стать географическим названием.

Известно ли нам слово *Куба* как этноним?

В доступных нам письменных источниках мусульманского средневековья упоминания о племени с таким названием не встречается. Тем не менее еще с 50-х годов XIX века в русской этнографической литературе такой этноним существовал. По реестру этнических родов восточной части бывшего Оренбургского ведомства, составленному в 1856 году Казанцевым, среди семнадцати отделений у рода кыпчаков фигурирует и *Куба* (7, 367, сноска 1). Кроме того, в Северной Киргизии одно из основ-

ных подразделений киргизского племени *черик* также именовалось *куба*. Значительная часть чериков была локализована в Синьцзян-Уйгурской автономной области КНР. «В особенности это относится к трем из пяти основных подразделений племени черик: тору, бай чубак и куба, хотя отдельные их части проживали вместе с двумя другими крупными подразделениями черикцев — ак чубак и тайчак — в пределах России» (2, 49—50).

Поскольку о кыпчаках (50) и об их пребывании в различных районах Средней Азии, Восточной Европы (50; 63, 143—145) и Закавказья (6, 101—105; 14, 99; 21; 26, 149; 65, 305) имеется большая и вполне доступная литература, нет необходимости останавливаться на общественно-политической и культурной деятельности этих племенных объединений в зонах распространения изучаемого географического названия.

В заключение отметим, что в списке современных географических названий Азербайджана доминирующее место принадлежит названиям антропонимического и этнического происхождения; кроме того, в кубинском диалекте современного азербайджанского языка встречаются элементы кыпчакского языка (67). Все это в той или иной мере говорит в пользу нашего предположения.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Abdülkadir Inan*. *Nayman boyunup Soyu meselesi* [Abdülkadir Inan. *Mekaleler ve İncelemeler*. Ankara, 1970].
2. *Абрамзон С. М.* Этнический состав киргизского населения Северной Киргизии. — «Труды киргизской археологической экспедиции», т. IV. М., 1960.
3. *Abu Naayan*. *Kitab al-Idrak li lisan al-Atrak*, Dr. A. Caferoglu neşri. Istanbul, 1930.
4. Азербайжан дилинин изайлы лугәти, 1-чи чилд, тәртиб едәни Ә. Ә. Оручов. Баку, 1966.
5. Азербайжан ССР инзибати-эрази бөлкүсү. Баку, 1968.
6. *Ализаде А. А.* Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII—XIV вв. Баку, 1956.
7. *Аристов Н. А.* Этнический состав тюркских племен и народностей и сведения о их численности. — «Живая старина», 1896, вып. 3—4.
8. Атлас мира. М., 1954.
9. Бабурнаме. Записки Бабура. Ташкент, 1958.
10. *Бағыров Г. К.* Губа диалектинин фонетик-морфоложи вә лексик хусусијјәгинә даир хуләсәләр. — Азәрб. Дөвләт Харици дилләр институту. Елми әсәрләр, 2-чи бура-хылыш. Баку, 1959.
11. *Бакиханов А.* Гюлистан-Ирем. Баку, 1926.
12. *باکيخانوف عباسقلي آقا (قدس)* گلستان ارم، متن علمی و انتقادی باکو ۱۹۷۰
13. *Бартольд В. В.* Туркестан в эпоху монгольского нашествия. — Соч., т. I М., 1963.
14. *Бартольд В. В.* Двенадцать лекций по истории турецких народов Средней Азии. — Соч., т. V. М., 1968.
15. Большой всемирный настольный атлас Маркса, под ред. Э. Ю. Петри, Ю. М. Шокальского. СПб., 1905.
16. *Брегель Ю. Э.* Хорезмские туркмены в XIX в. М., 1963.
17. *Будагов Л.* Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, т. II. СПб., 1871.
18. *Бутков П. Г.* Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 гг., ч. I. СПб., 1869.
19. *Ган К. Ф.* Опыт объяснения кавказских географических названий. — «СМОМПК», вып. 40. Тифлис, 1909.

20. Гејбуллајев Г. Нәјә көрә белә изаһ олунур? — «Совет кәнди», 3/III 1970, № 26 (2586), сәһ. 3.
21. Давид Строитель. — «СИЭ», т. 4. М., 1963.
22. Девону луготит түрк. Индекс-лугат, Ф. Абдурахманов вә С. Муталлибовлар иштироки вә тахрири остида. Тошкент, 1967.
23. *Divanü lûgat-it Türk Dizini. Yazan: Besim Atalay.* Ankara, 1943.
24. *Divanü lûgat-it Türk tercümesi, cilt 3, çevireni: Besim Atalay.* Istanbul, 1941.
25. Древнетюркский словарь. Л., 1969.
26. *Ибн әл-Әсир.* Әл-каmil фи-т-тарих. Бақы, 1959.
27. ۱۳۴۵ تهران دکتّر جعفر شعار ابن حوقل، صورة الارض، ترجمه هجرى شمسى
28. *Ибн Хаукал.* «Китаб ал-месалик в-ал-мемалик». Извлечение, перевод С. Волгина. — «МИТТ», т. I. М.—Л., 1939.
29. ۱۳۴۳ تهران قاضى احمد غفارى قزوینى، تاريخ جهان آراء، هجرى شمسى
30. ۱۹۲۵ کوچرلى فریدون بيك، آذربايجان ادبياتى ماترياللارى، جلد ۱، حصه ۲، باکو
31. Карпенко Ю. А. О синхронической топонимике. — В сб.: «Принципы топонимики». М., 1964.
32. Книга Большому Чертежу, подготовка к печати и редакция К. Н. Сербиной. М.—Л., 1950.
33. Козин С. А. Сокровенное сказание, монгольская хроника, 1240 г., т. I. М.—Л., 1941.
34. Коков Дж. Н. и Шахмурзаев С. О. Балкарский топонимический словарь. Нальчик, 1970.
35. Конкашпаев Г. К. Словарь казахских географических названий. Алма-Ата, 1963.
36. Лауров Л. И. Происхождение кабардинцев. — «Советская этнография», 1956, № 1.
37. Легкобытов В. Кубинская провинция. — «Обозрение Российских владений за Кавказом...», ч. IV. СПб., 1836.
38. *Le Strange G.* The Lands of the Eastern Caliphate, translated into Persian by Mahmood Erfan. Tehran, 1959.
39. Малый атлас мира. М., 1968.
40. Маркс К. Капитал, т. 3. М., 1954.
41. Мас'уд ибн Намдар. Сборник рассказов, писем и стихов. Факсимиле текста. Предисловие и указатели В. М. Бейлиса. М., 1970.
42. Махмуд Кошгарий. Туркий сузлер девони, т. 3. Тошкент, 1963.
43. ۱۳۳۵ محمودكاشغرى، ديوان لغات الترك، جلد ۳ استانبول، هجرى قمرى
44. *Minorskiy V. et Cahen Claude.* Le recueil transcaucasien de Mas'ud b. Namdar. — «Journal Asiatique», t. CC XXXVII, 1949, fasc. 1.
45. Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербента X—XI вв. М., 1963.
46. Моя республика. Краеведческое пособие по истории... Нальчик, 1968.
47. Нәбијев Н. Чоғрафи адларын мәншәји (ғыса топонимик лугәт). Бақы, 1969.
48. Никонов В. А. Введение в топонимику. М., 1965.
49. Никонов В. А. Нерешенные вопросы ономастики Поволжья. — В сб.: «Ономастика Поволжья». Ульяновск, 1969.
50. Новосельцев А. П. Половцы. — «СИЭ», т. II. М., 1968.
51. Пагирев Д. Д. Алфавитный указатель к пятиверстной карте Кавказского края. Тифлис, 1913.
52. Папазян А. Д. Персидские документы Матенадарана. II Купчие, вып. I (XIV—XVI вв.). Ереван, 1968.
53. Персидские и таджикские рукописи Института народов Азии АН СССР. (Краткий алфавитный указатель). Под редакцией Н. Д. Миклухо-Маклая, ч. I. М., 1964.
54. Подольская Н. В. Какую информацию несет топоним. — В сб.: «Принципы топонимики». М., 1964.
55. Пуцин Н. Каспийское море. СПб., 1877.
56. Радлов В. В. Опыт словаря тюркских наречий, т. II. СПб., 1899.

57. *Рашид-ад-дин*. Сборник летописей, т. I, книга вторая. М.—Л., 1952.
58. Россия, полное географическое описание нашего отечества., под ред. Семенова-Тянь-Шаньского, т. 19, Туркестанский край. СПб., 1913.
59. *Ротатев П. С.* Краткий словарь горных названий Кабардино-Балкарии. Нальчик, 1969.
60. Русско-казахский словарь, под общей редакцией Н. Г. Сауранбаева. М., 1954.
61. Собрание Восточных Рукописей Академии наук Узбекской ССР, т. I, под редакцией А. Семенова. Ташкент, 1952.
62. *Суперанская А. В.* Как вас зовут? Где вы живете? М., 1964.
63. *Феодоров-Давидов Г. А.* Кочевники Восточной Европы под властью Золотоордынских ханов. Археологические памятники. М., 1966.
64. Худуд ал-алем. Ленинград, 1930.
65. *Чхатарайшвили К. А.* Воины-иноземцы в грузинском войске XII века. — В сб.: «Грузия в эпоху Руставели». Тбилиси, 1966.
66. *Ширәлијев М.* Азәрбајҹан диалектолокијасынын әсаслары. Бақы, 1962.
67. *Ширалиев М.* Кипчакские элементы в азербайджанском языке (на материале диалектов и говоров). — «Исследование по грамматике и лексике тюркских языков». Ташкент, 1965.
68. *Лусифов Ю. Б.* Губа вә Хачмаз. — «Елм вә һәјат», 1965, № 9.
69. Jacut's geographische Wörterbuch., Bd. 4. Leipzig, 1869.
-

М. А. ХАБИЧЕВ

ОБ ЭТНОНИМАХ

alan, byzynnyly, malkarly, karacajly, tegejli

Алан 'аланец'. Состав и значение этнонима *alan* исследовались рядом ученых. Так, В. И. Абаев возводит *alan*, *allan* к древнеиранскому *arjana* 'арийский', 'ариец'¹. По В. И. Абаеву, осетины в сказках называют себя этнонимом *allon*².

Однако в последнее время получило широкое распространение мнение о тюркском происхождении этнонима *alan*. У. В. Алиев возводит этноним *alan* к *oglan* 'сын'³, в котором *g* выпал и *o* уподобился последующему *a*. Х. И. Хаджилаев⁴ развитие *alan* представляет следующим образом: *oklan* 'наследник' → *oulan* 'сын' → *ulan* 'сын', 'юноша', *alan* 'единоплеменник'.

Этноним *alan* возводится к слову *oulan* и другими исследователями⁵.

Однако эти утверждения, на наш взгляд, требуют дополнительного уточнения.

Карачаевцы и балкарцы испокон веков именовали себя этнонимом *alan*. *Алан* 'аланец' — обычное обращение балкарцев и карачаевцев только к носителям карачаево-балкарского языка, сходное, например, с обращением кабардинца — *adygə* к носителям кабардино-черкесского или осетина — *igon* к носителям осетинского языка. Этнонимом *alan* балкарцев и карачаевцев называют менгрелы и ногайцы. Осетины именуют балкарцев *asy*, *asi*. По мнению В. И. Абаева, под названием *as* в средние века был известен именно тот северокавказский народ, который обычно называли аланами⁶. Это подтверждается еще и тем, что в тюркских языках *jas* имеет то же значение, что и *alan* 'сын'. В связи с этим вызывает интерес обращение балкарских и карачаевских родителей к своим детям: *assynu balasy* 'дитя яссина', *assydan tuvvan assy* 'яссин, рожденный от яссина'. Абу-Хайян в «Китаби ал-Идрак ли-лисан ал-Атрак», составленном в Египте в 1312 г., в числе других тюркских пле-

¹ В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор, I. М.—Л., 1949, стр. 153; Историко-этимологический словарь осетинского языка, I. М.—Л., 1958, стр. 47.

² В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор, стр. 156.

³ О происхождении балкарцев и карачаевцев. Нальчик, 1960, стр. 150—151.

⁴ Х. И. Хаджилаев. К вопросу исследования и истории карачаево-балкарского языка. — «Ученые записки Азгосуниверситета им. С. М. Кирова», вып. I. Баку, 1961, стр. 93; его же. К топонимике Карачая. — «Труды КЧНИИ», вып. VI, серия историческая. Ставрополь, 1970, стр. 380.

⁵ У. В. Алиев, А. Д. Баучиев, К. Т. Лайпанов, М. А. Хабичев. «Аланла, Алания?» — «Ленинни байрагы», 1963, 20 апреля, № 79; Ш. Х. Акбаев. «Алан» дегез сѣз къайдан чыкъган болур? — «Ленинни байрагы», 1963, 21 апреля, № 80.

⁶ В. И. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка, стр. 79.

мен называет племя *as*. По византийским и русским источникам XII века ясский язык считался родственным печенежскому, который относился к тюркским языкам.

Этноним *alan* состоит из *al* (стяженная форма слова *oɣul* 'сын') и аффикса собирательности-множественности *-an*. Ср. куманское *oɣlan* 'сын', (Абу-Хайян, 61), *oɣlan, ovlan* 'мальчик, дитя' (Егтухфет, 220), *oɣlan, olan* 'мальчик', 'юноша'. Процесс превращения *oɣulan* в *alan* протекал следующим образом: *oɣulan* → *oɣlan* → *ovlan* → *olan* → *alan*.

Необходимо отметить, что за последнее время в одном из главных центров исторической Алании — Хумаринском и Каракентском городищах, расположенных на территории Карачаевского района КЧАО, в аланских катакомбах у скалы Токмак-Кая ('Скала Молот'), а также на одном из металлических предметов из аланской катакомбы обнаружены древнетюркские руны⁷. Зеленчукская надгробная надпись, сделанная на аланском языке, после внесения произвольных поправок была прочтена на основе осетинского языка⁸, затем на основе кабардино-черкесского языка⁹. Однако без внесения поправок в текст надпись была прочтена на основе малкарского диалекта карачаево-балкарского языка¹⁰.

Позднее этноним *alan* приобрел и переносное значение «друг», «приятель», видимо, возникшее в период алано-ясского племенного союза. Известно, что в этот союз входили племена, говорившие на разных языках¹¹. Вероятно, значительную часть этого союза составляли тюркоязычные аланы и яссы — предки карачаевцев и балкарцев, а также ирано-язычные аланы и яссы — предки осетин.

Помимо исконного общего этнонима *alan* 'аланец' карачаевцы и балкарцы носят этнические названия, исторически связанные с местами их обитания или с известными науке древнетюркскими племенными названиями: карачаевцы — *karačajly*, балкарцы — *basxañčuly* 'басханец', *byzynyly* 'бызынгиец', *malkarly* 'балкарец', *xolamly* 'холамец', *čegemli* 'чегемец'.

Byzynyly 'бызынгиец'. *Byzynyly* является названием речки, ущелья и аула в Балкарии. Жителей ущелья и аула *Byzynyly* карачаевцы и балкарцы именуют *byzynyly* 'бызынгиец'. Х. О. Лайпанов *byzynyly* 'бызынгиец' возводит к названию ущелья *Byzynyly*¹². По мнению У. Б. Алиева, *Byzynyly* является фонетическим вариантом этнонима *ре̇сепег*. Вероятно, этноним *byzynyly* восходит к *bazanakyly, bazanakyly* 'печенег'. Происхождением этнонима *ре̇сепег* занимались многие ученые. А. М. Щербак приводит различные его варианты, употреблявшиеся у разных народов¹³. Ср. вост.-слав. *ре̇сепези, ре̇сепегу*, араб. *baznak'*, перс. *bazanak'*, *byzynyak'*, венгер. *besenyő, bissení, besseneu, picenati, bessynew,*

⁷ М. А. Хабичев. О древнетюркских рунических надписях в аланских катакомбах. — «Советская тюркология», 1970, № 2, стр. 64—69; *его же*. Надписи в аланских катакомбах. — Газ. «Ставропольская правда», 1971, 7 января, № 5 (13659).

⁸ Вс. Миллер. Древнеосетинский памятник из Кубанской области. — «Материалы по археологии Кавказа», III, 1893, стр. 110—118.

⁹ А. Ж. Кафоев. Адыгские памятники. Нальчик, 1963.

¹⁰ М. Кудав. Опыт расшифровки Зеленчукской надписи на основе балкарского языка. — Газ. «Коммунизмге жол». Нальчик, 1965, 14 февраля, № 31 (6571).

¹¹ В. А. Кузнецов. Надписи Хумаринского городища. — «Советская археология», I. М., 1963, стр. 298—305.

¹² Х. О. Лайпанов. К истории карачаевцев и балкарцев. Черкесск, 1957, стр. 8.

¹³ А. М. Щербак. Знаки на керамике и кирпичах из Саркела — Белой Вежи. — «Труды Волго-Донской археологической экспедиции», т. II. Л., 1959, стр. 368.

bessi, bysseni, wisseni, польск. piecinigi, pieczyngi, тюрк. бэзэнәк', нем. rezineigi, rezenegi... Более близки к карачаево-балкарскому byzyny, др.-рус. реценегу, венгер. bissemi, bysseni, польск. pieczyngi, нем. rezenegi. Этноним базапаклы, как предполагают многие исследователи, следует возводить к база 'свояк' + -пак, где последний состоит из двух аффиксов собирательности-множественности: -п + -ак. В byzynyly -ly является аффиксом обладания. Следовательно, byzynyly 'бызынгиец' происходит не от названия ущелья, реки и аула Byzynyly, а, наоборот, последние восходят к этнониму byzynyly 'бызынгиец'.

Любопытно и то обстоятельство, что бызынгийцы говорят на холамо-бызынгийском смешанном говоре.

Malkarly 'балкарец'. Х. О. Лайпанов в связи с этим этнонимом пишет: «Видимо, название «малкарцы» происходит от названия р. Малки, где раньше жили современные жители долины Черека»¹⁴. Такого же мнения и С. О. Шахмурзаев¹⁵.

Многие авторы указанный этноним генетически связывают с названиями древних северокавказских булгар: K'upi-Bulgar, Duči-Bulk'ar, Ogxondor-Blk'ar и Čdar-Bolk'ar¹⁶. Х. О. Лайпанов отрицает связь между названиями malkar и bolgar¹⁷. М. Фасмер, как и некоторые другие, считает, что др.-тюрк. bulgar имело значение «смешанное происхождение, метис» и возводит его к слову bulγatak 'мешать'¹⁸. Однако вряд ли можно согласиться с подобным мнением. Нет также никаких оснований отрицать генетическую связь между этнонимами malkar 'балкарец' и древними bulgar, bulk'ar, blk'ar, bolkar. Начальный согласный *m* слова malkar восходит к *b*. Переход *b* в *m* — характерная черта карачаево-балкарского языка. Ср. карач. tuban — балк. tuman 'туман', карач. bulzar и mizar 'место, застланное соломой', карач. базар- — балк. тазар- 'выполнять', карач. mijik' — балк. bijik' 'высокий', карач. miz — балк. biz 'шило', карач. тушху — балк. бухсу 'пила', балк. тупи и бупи 'этого' и т. д.

Этнонимом malkarly карачаевцы, басханцы, бызынгийцы, холамцы и чегемцы называют балкарцев Черекского ущелья. Этноним malkarly состоит из malk (видоизмененная форма слова baluk 'источник, река') + -ar (аффикс собирательности-множественности) + -ly (аффикс обладания). Следовательно, malkarly восходит к balykarly, семантика которого развивалась так: «люди, живущие у реки» → «люди, живущие у реки Balyk» → «балкарцы». Река Malk'a в языке карачаевцев и балкарцев звучит Balyk, а речка K'iči Malk'a — K'iči Balyk 'Маленькая река'. Слово balyk ныне в значении «река» не употребляется, так как у карачаевцев заменено словом koban (Кубань) 'река', а у балкарцев — словом čerek 'река'. Однако ср. татар. bolak 'речка', 'ручей', азерб. bulag и кумык. bulak 'источник, родник, ключ'.

Следует добавить, что аффикс -ar в составе malkarly 'балкарец', возможно, восходит к самостоятельному слову er 'человек, мужчина,

¹⁴ Х. О. Лайпанов. Указ. раб., стр. 8.

¹⁵ О происхождении балкарцев и карачаевцев. Нальчик, 1960, стр. 298.

¹⁶ Н. Ходнев. Заметки о древних названиях кавказских народов. — Газ. «Кавказ», Тифлис, 1867, № 45; В. Миллер. Осетинские этюды, ч. 3. — «Ученые записки Московского университета», вып. 8. М., 1887, стр. 103—104; Е. П. Алексеева. Карачаевцы и балкарцы — древний народ Кавказа. Черкесск, 1963, стр. 18.

¹⁷ Х. О. Лайпанов. Указ. раб., стр. 8.

¹⁸ М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. М., 1964, стр. 187.

‘муж’. В таком случае более древним значением balykar (← balyk er) будет «речные люди».

Кагаčajly ‘карачаевец’. О происхождении этнонима караčajly существуют различные мнения. Одни считают, что караčajly восходит к имени легендарного родоначальника карачаевцев — Кагса, другие — к названию напитка кага čaj ‘черный чай’, третьи — к кага ‘черный’ и čaj ‘река’¹⁹. Х. И. Хаджилаев возвел его к kagesej, который состоит из kart ‘старая’ + esej ‘мать’. Отсюда kagesej||кагаčaj ‘старая мать’ → ‘место, где родились отцы’ → ‘родина (предков)’²⁰.

На наш взгляд, этноним караčajly является огузской формой этнонима кага balykarly ‘черный болгарин’ и имеет следующий состав: кага ‘черный’ + čaj ‘река’ + -ly (аффикс обладания), то есть ‘люди, живущие у черной реки’ → ‘чернореченцы’ → ‘черные болгары’ → ‘карачаевцы’. Соответственно кага balykarly также состоит из кага ‘черный’ + balyk ‘река’ + -ar (аффикс собирательности-множественности или, как было отмечено, полнозначное слово, восходящее к er ‘человек, мужчина’) + -ly (аффикс обладания), то есть ‘люди, живущие у черной реки’ → ‘люди черной реки’ → ‘чернореченцы’ → ‘черные болгары’. Интересно также, что огузскому караčaj ‘черная вода’, ‘черная река’ в современном карачаево-балкарском языке соответствует словосочетание кага suv со значениями «черная вода», «черная река, источник, родник», «чистая (прозрачная) вода». Кумыки реку Терек называют Кага bulak ‘Черная река’, ‘Черный источник’. Византийский автор X в. н. э. Константин Багрянородный и русские летописи именуют болгар, оставшихся в Предкавказье после VII в. н. э., ‘черными болгарями’²¹.

Всё это говорит о том, что карачаевцы и балкары донесли до наших дней свои древнейшие этнические названия alan, bolgarin, rešeneg.

Tegej ‘осетин’, ‘Осетия’. В. И. Абаев под этнонимом tegejli подразумевает осетин-тагаурцев²², а Б. А. Алборов считает, что tegej означает «горец»²³. Этнонимом tegej карачаевцы и балкары называют не тагаурцев, а всех осетин. Этноним tegej, как мы полагаем, состоит из карачаево-балкарского teg → teŋ (ср. tegiś ‘равный’, ‘ровный’), ‘равный’, ‘ровный’, ‘соответствующий’, ‘друг’ + -ek → -ej (аффикс собирательности-множественности) и означает «дружественное племя», «равное племя», «друзья». Вероятно, этноним tegej возник в период алаано-ясского племенного союза, который существовал в древности.

¹⁹ Очерки истории Карачаево-Черкессии. Ставрополь, 1967, стр. 111.

²⁰ Х. И. Хаджилаев. Очерки карачаево-балкарской лексики. Черкесск, 1970, стр. 18.

²¹ О происхождении балкарцев и карачаевцев, стр. 19; Е. П. Алексеева. Указ. раб., стр. 19.

²² В. И. Абаев. Осетинский язык и фольклор, стр. 280.

²³ О происхождении балкарцев и карачаевцев, стр. 108.

СООБЩЕНИЯ

В. Л. ГУКАСЯН

О НОВОНАЙДЕННОМ СПИСКЕ АЛБАНСКОГО АЛФАВИТА

В сентябре 1970 г. в окрестностях селения Верхний Лабко Лева-шинского района Дагестанской АССР была найдена каменная плитка с надписью¹. Учащиеся Арсланбек Арсланбеков и Галина Исабекова, найдя указанную плитку, разломали ее на две части для игры в классы. Арсланбек, случайно заметивший какие-то знаки на плитке, показал ее своему отцу, педагогу истории, директору Карлабкинской школы Хас-пулату Арсланбекову.

Сверив знаки на плитке с алфавитом кавказских албанцев, напечатанным в «Истории Дагестана» Р. Магометова, Х. Арсланбеков понял, что найден новый список албанского алфавита. Арсланбек и Галина сообщили, что на месте находки они видели еще несколько каменных обломков со знаками. Однако найти эти обломки Х. Арсланбекову не удалось.

По сообщению археолога В. Г. Котовича автору, на месте находки было некогда поселение: раскопанные здесь материалы датируются им III—VII вв. н. э. Если предположить, что найденная плитка принадлежит к числу этих материалов, то и она должна относиться к тому же периоду.

На плитку острым предметом были нанесены знаки албанского алфавита: на одной стороне — 25, а на другой — 19 знаков. На какой из сторон алфавит начинается и на какой завершается, определить пока что трудно. Первым знаком со стороны 25 знаков является «з» (зох), а обратной стороны — «с» (сой).

Чтобы иметь возможно полное представление о знаках на плитке, необходимо хотя бы вкратце остановиться на уже известных списках албанского алфавита, а также эпиграфических памятниках из Минге-чаура.

Как известно, албанская письменность Азербайджана стала объектом исследования ученых спустя тысячу лет после того, как она перестала существовать, то есть «тогда, когда ее уже не было в практическом применении, да и вообще реально уже не существовало никакой албанской книги, не было известно ни одной албанской надписи»². Интенсивные поиски следов албанской письменности начались с 30-х годов XIX в. и продолжались более ста лет. И только в сентябре 1937 г. И. В. Абуладзе обнаружил в одной из рукописей XV в., хранящейся в эчмиадзинском фонде ереванского Матенадарана под № 7117, списки различных алфавитов, среди которых был и албанский.

¹ См.: газ. «Дагестанская правда», 1970, 3 декабря, № 285.

² См.: А. Г. Шанидзе. Язык и письмо кавказских албанцев. — «Вестник отделения общественных наук АН Груз. ССР». Тбилиси, 1960, № 1, стр. 170.

Академик А. Г. Шанидзе, исследовав этот список, установил его подлинность и датировал IX—X вв.³ Обнаруженный алфавит, состоящий из 52-х знаков-букв, сверху был надписан по-армянски: «Aṙuanic girne» ('Албанское письмо'), а под каждой из букв приводилось название в армянской транскрипции. Причем начальные буквы названий знаков алфавита были написаны красными чернилами, что обозначало букву-звук. Поэтому при определении букв алфавита основой служили заглавные буквы названий⁴ (рис. 1).

1	2	3	4	5	6	7	8	9
att	adet	zim	qat	ēb	zazē	en	žil	tas
10	11	12	13	14	15	16	17	18
za	jud	ža	izb	ša	lan	ina	xen	dan
19	20	21	22	23	24	25	26	27
čaṙ	zox	kaṙ	lit	hēt	haj	az	coj	ēl
28	29	30	31	32	33	34	35	36
caj	mok	kaṙ	nuc	žaj	šak	zajn	un	taṙ
37	38	39	40	41	42	43	44	45
xam	zaj	čat	pēn	pēs	kaṙ	Sēk	vēz	tiuz
46	47	48	49	50	51	52		
soj	iōn	čan	cajn	jajd	piuz	kiu		

Рис. 1

В начале 1953 г. в США был обнаружен второй список албанского алфавита, состоящий также из 52-х знаков-букв. По мнению Н. Курдиана, которому принадлежит этот вновь найденный список алфавита, и А. Г. Шанидзе — он переписан около 1580 года со списка, принадлежащего Матенадарану⁵. Списки между собой различаются только названиями трех букв⁶.

³ См.: А. Г. Шанидзе. Новооткрытый алфавит кавказских албанцев и его значение для науки. — «Изв. ИЯИМК Груз. ФАН СССР», т. IV. Тбилиси, 1938, стр. 16, 17, 19 и т. д.

⁴ См.: В. Л. Гукасян. Опыт дешифровки албанских надписей Азербайджана. — «Изв. АН Азерб. ССР, серия литературы, языка и искусства». Баку, 1969, № 2, стр. 61.

⁵ См.: N. Kurdian. The newly discovered alphabet of Caucasian Albanians. JRAS, 1953, April, pp. 80—83 (с одной таблицей); А. Г. Шанидзе. Новые данные об алфавите кавказских албанцев (второй список албанского алфавита). — «Труды первой конференции Закавказских университетов». Баку, 1959, стр. 201—206.

⁶ См.: В. Л. Гукасян. Указ. раб., стр. 61.

В 1948—1952 гг. при земляных работах на строительстве Мингечавурской ГЭС азербайджанскими археологами было обнаружено восемь эпиграфических памятников, датированных V—VII вв.

Сличение списков алфавита с эпиграфическими памятниками доказало подлинность первых.

Автором этих строк было установлено, что весь корпус албанской эпиграфии состоит из 193 знаков, насчитывающих 34—35 графических инвариантов, из коих 25 имеют свои точные соответствия в алфавите рукописи № 71177.

Обнаруженные надписи и списки алфавита подтвердили свидетельства армянских и сирийских источников о том, что албанцы имели свою письменность, созданную на основе одного из албанских языков. Так, новонайденный *верхнелабкойский* список албанского алфавита лишней раз указывает на наличие у албанцев письменности в V—VIII вв., в сферу распространения которого входила также значительная часть Дагестана.

Упомянутая выше таблица алфавита нанесена на отшлифованную плитку небольшого размера: длиной 10 см, шириной 6 см и толщиной менее 1 см. На одной стороне плитки — 7 строк, из коих 6 состоят из 4-х знаков, а последняя — из 1 знака в середине плитки, под 2-м знаком 6-й строки. На другой стороне плитки — 6 строк: первые 2 строки состоят из 3-х знаков, в трех последующих по 4 знака, а в последней — 1 знак в середине плитки, под 2-м знаком 5-й строки (рис. 2).

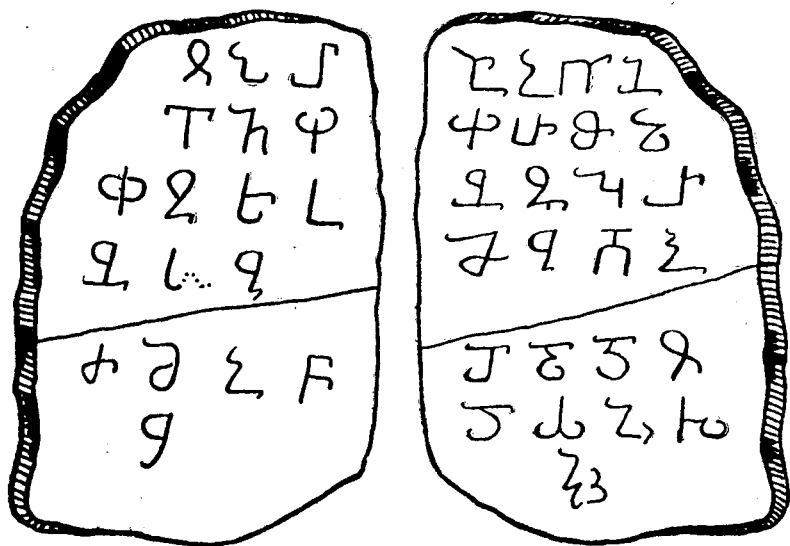


Рис. 2

Хотя на первый взгляд плитка похожа на обломок большого куска, однако тот факт, что знаки последних строк высечены в середине, показывает, что на нее нанесены писцом все известные ему знаки.

При сравнении алфавита на плитке с ранее найденными его списками можно видеть, что на плитке отсутствует 10 знаков-букв, в

¹ В. Л. Гукасян. Указ раб., стр. 58—69.

то же время в списках нет трех знаков, имеющих на плитке. Все остальные знаки на плитке имеют точные соответствия (по начертанию знаков) в известных списках алфавита. Причем порядок букв на одной из сторон плитки (имеющей 25 знаков) и в первых двух строках другой стороны (19 знаков) такой же, как и в упомянутых списках. Это знаки 20—52, прочтение которых не вызывает никаких сомнений. Отсутствующий на плитке 25-й знак должен был бы соответствовать a_1 (по-видимому, фарингализованному гласному $a\bar{v}$). Помимо этого, 45-й знак, по расположению соответствующий o [в списках « y » (yn)], на плитке сверху имеет т-образный крючок. Подобная форма для знака o в известных списках алфавита и в надписях не встречается.

На стороне плитки, имеющей 19 знаков, порядок букв нарушен. Во-первых, 52-й знак-буква стоит рядом с 1-м знаком-буквой, то есть третья строка начинается с k ($кив$), за которым следуют a , b , g ($з$); четвертая строка начинается с $g\bar{z}$ ($г$), за которым следуют три неизвестных знака, из коих уцелел только второй (в строке—третий); в пятой и шестой строках порядок букв не нарушен.

Указанные несоответствия и отсутствие некоторых знаков на плитке или в списках алфавита могут иметь различные объяснения. С чем именно это связано, точно сказать трудно. Возможно, отсутствие десяти знаков объясняется упущением писца, а три неизвестных знака появились в результате искажения⁸. Ошибкой писца можно объяснить и другие отклонения от списков алфавита: знаки 1—3 и 52 включены в одну строку плитки; в списках алфавита $\bar{z}$ следует за $g\bar{z}$ ($г$), а на плитке между ними располагаются еще три знака.

Заслуживает быть отмеченным следующее: а) в новонайденном списке алфавита отсутствуют указания названий букв. Это дает право исследователям полагать, что он сделан тогда (если он подлинный!), когда еще албанская письменность практически использовалась и поэтому не было необходимости специально указывать названия букв; б) знаки-буквы a , b , c , n , m , v , t и некоторые другие (26 из 44-х) ближе по начертанию к знакам надписей. Это подтверждает правильность прочтения их А. Г. Абрамяном, Г. А. Климовым и В. Л. Гукасяном, ибо знаки алфавита на ранее найденных предметах высечены именно в таких начертаниях. Что касается назначения плитки, то об этом трудно сказать что-либо определенное. По предположению Х. Арсланбекова, плитка имела учебное назначение. Легкость плитки, ее размеры, прочность и другие внешние качества говорят в пользу такого мнения. Однако отсутствие десяти знаков алфавита, а также нарушенный порядок букв, не могут не вызвать сомнения в подобном предназначении плитки. Конечно, сам писец или учитель, заметив ошибки в табличке, могли ее выбросить как непригодную.

Г. А. Климов полагает, что подсвечник № 2 из Мингечаура также содержит список десяти начальных букв албанского алфавита и «призван был играть роль своего рода учебного пособия»⁹.

Если предположения Г. А. Климова и Х. Арсланбекова подтвердятся дальнейшими исследованиями, то необходимо будет объяснить, с какой целью албанцы наносили на камни, подсвечники и прочие твердые пред-

⁸ Возможно и наоборот: эти знаки на плитке начертаны правильно, а в списках алфавита искажены до неузнаваемости. Однако знаков такого начертания нет и в надписях.

⁹ См.: Г. А. Климов. К чтению двух памятников агванской (кавказско-албанской) эпиграфики. — Журн. «Вопросы языкознания», 1970, № 1, стр. 10.

меты часть знаков своего алфавита. Ведь если это делалось с учебной целью, то необходимо было наличие всех знаков, причем расположенных в определенной последовательности¹⁰.

По мнению Х. Арсланбекова, алфавит на плитке начинается со стороны, имеющей 25 знаков. Отметим, что в обоих списках албанского алфавита, а также в армянском, грузинском, греческом, сирийском, коптском и других алфавитах, имеющих в учебнике Матенадарана (инв. № 7117), первые знаки названы «а». Знак для «а», имеющийся в списках алфавита, повторяется двадцать два раза в надписях и по своему начертанию точно соответствует второму знаку третьей строки стороны плитки, имеющей 19 знаков, причем за этим знаком следуют «б», «г», (з), «гъ» (г), имеющие точные соответствия в списках алфавита. Кроме того, на стороне, имеющей 19 знаков, знаки разделены большим интервалом, а в первых двух строках помещено по три знака. На другой же стороне плитки интервал между знаками незначителен, и на всех строках, кроме последней, помещено по четыре знака. Поэтому мнение Х. Арсланбекова требует дополнительного уточнения. Дальнейшие исследования покажут, с какой стороны начинается надпись на плитке. Главное же заключается в том, что, как отмечает Г. А. Климов, 1970 год для албанистики не прошел даром,—найден новый список албанского алфавита в Дагестане. Помимо этого, Л. Ишханов обратил внимание на знак на одном из фустов круглого храма в селении Лекит Кахского района Азербайджанской ССР. Он верно отметил, что знак, нанесенный на ствол глубокой резьбой, по начертанию схож с одним из знаков албанского алфавита¹¹. По мнению Г. А. Климова, это знак для «к»¹². Нам же кажется, что это знак для «с», который встречается в эпиграфических памятниках восемь раз и имеет свое соответствие в списках алфавита под названием «сек» (№ 43). По своему начертанию он сходен только с «с» и не напоминает ни одно из трех «к» (к, кк, кI) надписей и алфавита.

¹⁰ Чтение Г. А. Климова не вызывает сомнений. Автор свое мнение подкрепляет конкретными лингвистическими и палеографическими данными. Но, на наш взгляд, его чтение требует некоторого уточнения. Дело в том, что начинать чтение надписи со знака для «а», основываясь лишь на том, что «он выписан значительно крупнее остальных», недостаточно оправданно. Во-первых, по своему размеру этот знак ничуть не больше знаков «т», «ы», «э» и «н» (у автора «з»); все они по высоте имеют 3,2 см (см. об этом: Р. М. Ваидов. Минкэчевир III—VIII эсрларда. Баку, 1961, стр. 141); во-вторых, на наш взгляд, не точно указана последовательность знаков на подсвечнике. Надпись начинается со знака «г» (у автора «е») и кончается знаком «э». Интервал между этими знаками на подсвечнике намного больше, чем между другими знаками. На трех гранях четырехгранного подсвечника помещены по три, а на последней грани — два знака. Последовательность знаков, как верно указано Р. М. Ваидовым, следующая:

[P 9 4 2 6 5 1 ... 1 3]
2 ы(е) т и п й ?(з) и е з

Часть этой последовательности знаков «гытна» (или «гетна») может интерпретироваться как состоящая из «гет|гыт» (значение не ясно, может быть личным именем «Гют») и «на» (окончание родительного падежа в удинском языке). Следующие два знака «бг»... могут рассматриваться как сокращенная форма имени бога «бихаджуг»(?), а последняя часть «ез» в переводе с удинского означает притяжательное местоимение «свой». Получается, пожалуй, связный текст: *гытна бг (бихаджуг) ез* 'бог Гюта ... свой (твой)'.

¹¹ См.: Л. Ишханов. К изучению храма в селении Лекит. — Журн. «Советская археология», 1970, № 4, стр. 230.

¹² Письмо Г. А. Климова автору от 30.XII 1970.

Наличие только одного знака на фусте Л. Ишханов объясняет тем, что «он служил меткой-тамгой каменотеса»¹³. Это возможно, тем более, что подобные тамги-метки встречаются на сосудах и не только Албании, но и Армении и Грузии, правда на колоннах храма они еще не обнаруживались.

Археологические раскопки в юго-западном Дагестане и исторической Албании, особенно на территории от Чула — Дербента — Кабалы — Шеки — Белоканов до Акстафы — Казаха — Барды, несомненно, обогатят науку новыми албанскими письменными памятниками, благодаря которым тайна древней албанской письменности будет наконец раскрыта.

¹³ См.: Л. Ишханов. Указ. раб., стр. 230.

РЕЦЕНЗИИ

Е. И. КОРКИНА. НАКЛОНЕНИЯ ГЛАГОЛА В ЯКУТСКОМ ЯЗЫКЕ*

Рецензируемая монография является первым специальным исследованием парадигм якутского глагола, в своей совокупности составляющих систему его наклонений.

В результате многолетнего изучения обширного фактического материала, почерпнутого из самых разнообразных печатных и устных первоисточников и отражающего основные жанры и стили современного литературного якутского языка, Е. И. Коркина выявила едва ли не весь состав якутских регулярных глагольных парадигм и, основываясь на достижениях современного тюркского языкознания, предложила их наиболее полную и строгую грамматическую классификацию.

Большинство форм, представленных в книге, ранее описывалось лишь в самых общих чертах. Многие из них, в частности половина сложных глагольных форм, в грамматических описаниях по якутскому языку рассматривались как именные формы, или же вовсе не отмечались. Характеризуя эти формы, исследователи в лучшем случае ограничивались регистрацией основных значений и функций каждой формы в отдельности, не пытаясь выяснить их отношения друг к другу — их общие и профилирующие значения, которыми они взаимосвязаны отношениями противопоставления, находясь в рамках единой категории времени или наклонения. Этим главным образом и вызван тот поразительный разбой в трактовке почти всех форм прошедшего и будущего времени изъяснительного и остальных наклонений якутского глагола (исключая разве только повелительное и условное наклонения), о котором автор говорит во введении и в соответствующих главах книги.

Осуществляя грамматическую квалификацию форм времен и собственно наклонений якутского глагола, автор монографии прежде всего анализирует накопленную более чем за сто лет лингвистическую инфор-

мацию об этих формах и обобщает выводы своих предшественников, начиная от О. Бетлинга и кончая современными специалистами в области грамматики, в том числе Л. Н. Харитоновым и Е. И. Убрядовой. Значительное место в книге уделено критическому обзору основных источников по глагольному формообразованию в других тюркских языках. Основываясь на неопровержимых данных проведенного ею исследования, Е. И. Коркина пересматривает традиционную точку зрения своих предшественников по ряду актуальных вопросов. Она убедительно доказывает, например, несостоятельность существующей квалификации сочетания глагольной формы с модальными словами и частями как не-обратимой монолитной морфологической единицы (см. полемику с Б. О. Орузбаевой на стр. 88) и справедливо не включает такие сочетания в число самостоятельных форм глагола. Е. И. Коркина вносит также поправки в работы якутских специалистов, в том числе и Л. Н. Харитонova, восполняя существенные пробелы в регистрации якутских глагольных форм за счет сложившихся аналитических словоформ, занимающих в системе современного глагола довольно значительное место и являющихся перспективными. Воздав должное своим предшественникам, автор монографии четко определяя стоящие перед ним проблемы и переходит к их рассмотрению. Е. И. Коркина успешно разрешила, на наш взгляд, задачу определения места каждой формы времени и собственно наклонения в соответствующем узле глагольной системы, полно и точно охарактеризовав ее природу путем установления реального соотношения между исследуемыми формами. Как она сама пишет, природа каждого наклонения и его формы **выявляется на основе сопоставления его с другими наклонениями в соответствующих рядах оппозиций** (стр. 28).

Такая точка зрения позволила Е. И. Коркиной обоснованно и во многом по-новому определить место ряда глагольных форм

* М., 1970, 307 стр.

(например, сослагательного наклонения, отмеченного только в одной из ранних работ Е. И. Убратовой и до сих пор не признававшегося другими учеными, а также формы прошедшего времени на **-бытыгым баар**: **суох**, неправомерно трактовавшейся ранее как собственно именная форма), внести многочисленные дополнения, исправления и уточнения в существующую квалификацию чуть ли не всех парадигм якутского глагола. В этом можно легко удостовериться, если сравнить предложенную Е. И. Коркиной характеристику с любой другой, представленной в грамматических описаниях по якутскому языку.

Наиболее плодотворным оказалось исследование Е. И. Коркиной в определении различительных семантических признаков описанных ею форм, в особенности состава и соотношения значений полисемантических парадигм. Нередко Е. И. Коркина отмечает не только типичные устоявшиеся значения формы, но и их тончайшие оттенки (см., например, стр. 104).

В многозначных формах Е. И. Коркина различает профилирующее или, как его называют, основное значение формы, проявляемое ею регулярно и как бы независимо от условий реализации, и обусловленные ее частные значения, связанные с определенным контекстом и выражаемые с его помощью. Не ограничиваясь этим, автор стремится выявить причины, в силу которых то или иное частное значение формы, закрепленное только за определенными условиями ее употребления, неизбежно начинает проявляться. Так, например, она прослеживает прямую зависимость модального значения сомнения, проявляемого формой настоящего времени на **-ар** от сочетания последней с частицей **дуу** (стр. 38). Ею установлено, что форма будущего времени приобретает значение категоричности или побуждения лишь благодаря соответствующей интонации, вне которой эта форма неизменно выражает только свое профилирующее значение будущего времени (стр. 58).

К сожалению, в целом лишь немногие обусловленные значения полисемантических парадигм охарактеризованы с точки зрения условий их проявления, так как это требует весьма тщательного исследования обширного материала. Не подлежит, однако, сомнению, что описанная попытка выяснения реальных условий выявления значений формы может содействовать коренному улучшению существующего весьма неточного и условного описания тюркских многозначных парадигм.

Не менее важным новшеством следует считать предложенную Е. И. Коркиной нормативную квалификацию форм, ускользающую, как правило, из поля зрения грамматистов. Обычно в грамматических описаниях мало кто выясняет, насколько употребительна рассматриваемая форма, в какой мере она соприкасается с близкими к ней

формами, какова сфера ее применения, закреплена ли она за определенными условиями коммуникации, стилем или разновидностью национального языка (имеются в виду диалекты, собственно разговорный язык, письменный и устный литературный язык). Вопреки установившейся традиции Е. И. Коркина строго ограничивает формы, устоявшиеся в современном литературном языке как нормативные, от некоторых диалектных и явно устаревших форм (отдельные из них обычно описывались в одном ряду с нормативными формами). Многие формы, тесно соприкасающиеся по своему значению и функциям, четко охарактеризованы с точки зрения сферы их применения, относительной употребительности, а также их собственно стилистических особенностей. Значительное внимание автор уделяет вопросу о вариативности форм (см., например, стр. 225).

При описании многих форм Е. И. Коркина широко пользуется сравнительным материалом из других тюркских языков, что помогает ей резче оттенить специфику якутского глагола.

В отличие от аналитических по традиции подробно рассмотрены в генетическом плане аффиксальные формы с учетом основных имеющихся по этому вопросу сведений.

Монография Е. И. Коркиной отличается полнотой охвата объекта исследования и четкостью его описания. Она дает ясное представление о парадигматике якутского глагола и вносит весомый вклад в разработку актуальных проблем глагольных категорий не только якутского, но и других тюркских языков.

Книга не лишена некоторых общих и частных недостатков.

Формы так называемых косвенных наклонений, служащие организующим центром соответствующих структурных типов предложений, например побудительных конструкций и условного периода, могли бы быть охарактеризованы и с точки зрения их синтаксических функций.

Описывая явно обусловленные частные значения ряда временных форм, например спрягаемой формы на **-быт** (§ 16, стр. 80), Е. И. Коркина могла бы более четко ограничить их от ведущих (профилирующих) значений и выявить зависимость частных значений этих форм от особенностей контекста или же лексического содержания основы данной формы.

Представляется весьма спорным выделение наклонения так называемого обычно совершаемого действия (глава V, стр. 220), которое по своему характеру ближе всего стоит к изъявительному наклонению, хотя и может быть представлено не только в рамках настоящего, но и прошедшего времени. Во всяком случае обе формы этого наклонения, описанные в книге, полностью отвечают тем критериям изъявительного наклонения, которые однозначно сформули-

рованы на стр. 32. Однако отдельные бесспорные формы времен изъявительного наклонения в их ярко выраженных модальных значениях, характерных для косвенных наклонений, вовсе не согласуются с этим определением изъявительного наклонения (ср., например, значение сомнения или неуверенности, которое проявляет форма будущего времени на **-(а/е)р** с помощью модальной частицы **ини**, стр. 60). В связи с изложенным остается неясным вопрос, каковы действительные границы изъявительного наклонения, противопоставлено ли оно остальным наклонениям во всех своих формах и их значениях или же противопоставит им только в ведущих значениях этих форм.

На стр. 80 Е. И. Коркина утверждает, что «форма преждепрошедшего времени повествовательного в сочетании с глаголом **буол** служит для выражения недействительных, притворных действий или действий, сознательно принижаемых, умаляемых говорящим лицом, преподносимых как маловажные». Судя по всему это сочетание является самостоятельной неделимой глагольной формой. Поэтому его рассмотрение в рамках изъявительного наклонения представляется по меньшей мере неуместным.

Предпрошедшее время изъявительного наклонения почему-то названо давнопрошедшим (стр. 124), несмотря на то, что оно служит отнюдь не для уточнения давности или другой хронологии действия.

В книге недостаточно полно изложен вопрос об относительных временах, выражаемых путем осложнения соответствующих аффиксальных форм времени служебным глаголом **этэ**. Распространено мнение, что все сложные формы прошедшего времени с **эди** в других тюркских языках неизменно выражают относительное время и что по этому признаку они противопоставляются остальным формам прошедшего времени. Эта точка зрения могла бы быть проанализирована на материале якутского языка.

В монографии не получили отражения и некоторые другие высказывания ученых по вопросам категорий времени и наклонения в тюркских языках.

И тем не менее работа Е. И. Коркиной имеет большое научное и практическое значение как одно из лучших современных исследований по якутскому языку.

А. А. Юлдашев

Ж. А. АРАЛБАЕВ. ВОКАЛИЗМ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА*

В настоящее время в казахском языкознании четко определилась тенденция: наряду со всесторонним изучением актуальных проблем грамматики, лексикологии, истории и диалектологии казахского языка исследовать и его фонетику. При Институте языкознания Академии наук Казахской ССР создана Лаборатория экспериментальной фонетики, оснащенная новейшей аппаратурой, позволяющей проводить исследование фонетической системы казахского языка экспериментальным методом, обеспечивающим получение объективных данных.

Рецензируемый труд заведующего упомянутой Лабораторией экспериментальной фонетики Ж. А. Аралбаева является одним из первых научных исследований фонетики казахского языка с помощью новейшей электроакустической аппаратуры с применением современных методов лингвистического анализа. В книге Ж. А. Аралбаева всесторонне освещается природа вокализма казахского языка: определяется состав гласных фонем и их основные варианты, спектральный состав гласных звуков, прослеживается процесс развития вокализма и связанных с ним фонетических явлений, приводятся интересные сведения о морфонологии казахского языка, сопоставляемые с фактами других родственных языков.

Следует отметить, что в настоящее время появилось множество лингвистических школ и направлений, использующих разнообразные методы и приемы фонетических исследований. Характерно, что каждая из этих школ стремится выработать собственную терминологию для определения тех или иных понятий и категорий фонетики и фонологии, к сожалению, не всегда доступную даже для специалистов данного профиля, что в известной степени осложняет изучение существующих методов фонетических исследований. В этой связи работа Ж. А. Аралбаева приобретает важное научно-познавательное значение: она дает

возможность казахским языковедам и широкому кругу тюркологов ознакомиться с различными воззрениями на те или иные вопросы фонетики и фонологии, помогает изучить и понять принципиальные основы различных методов лингвистического анализа ведущих направлений и школ как в Советском Союзе, так и за рубежом. С этой точки зрения интересно определение, данное автором понятию «фонема», являющемуся краеугольным камнем современной лингвистической науки, полученному в трудах известных отечественных и зарубежных языковедов разнообразные, а порою и противоречивые характеристики.

Надо признать, что современная наука о звуковой системе языка немаловажна без применения экспериментально-фонетических методов исследования речи. Приведенные в книге Ж. А. Аралбаева данные о выделении дифференциальных признаков ударных и безударных гласных казахского языка, полученные методом спектрального анализа, представляют несомненный интерес. Разработка этого вопроса велась под руководством акад. С. К. Кенесбаева при участии известных московских фонетистов Л. П. Блохиной и Р. К. Потаповой. Однако в комплексном его решении существенную роль сыграли результаты экспериментальных исследований, полученные автором в строгом соответствии с требованиями эксперимента. Для подбора 97 слов, включающих 14 моделей, ему пришлось провести тщательный анализ большого количества двусложных и трехсложных слов казахского языка, произвести записи на ферромагнитную ленту и организовать их прослушивание. Качественное выполнение эксперимента содействовало успешному решению сложных задач исследования казахской фонетики.

Данные спектрального анализа гласных казахского языка автор дополняет подробным описанием такого важного для характеристики гласных компонента, как длительность. Обработка данных экспериментальных исследований производилась мето-

* Алма-Ата, 1970, 178 стр.

дом вариационной статистики. Установлено наличие определенной количественной редукции гласных в зависимости от их позиции в слове. В работе приводятся интересные сведения из области акустической фонетики.

Лингвистическая наука, изучающая языковые явления, на данном этапе развития неизбежно соприкасается как с различными смежными, так и точными науками. Поэтому не удивительно, что фонетический строй современного казахского языка начал изучаться при помощи математического анализа. Ж. А. Аралбаев, пользуясь методом математической статистики, определяет частотность или вероятность гласных фонем в казахском языке и информацию, которую несет каждая из этих фонем. Учитывая специфическую особенность фонетической природы тюркского вокализма, автор раздельно анализирует гласные начального и нена начального слогов, иллюстрируя каждую подсистему таблицами.

Важное практическое значение имеет сопоставительное изучение явлений в области вокализма казахского и уйгурского языков: довольно четко и дифференцированно выступают, например, позиционные оттенки и другие особенности гласных фонем казахского языка при сравнительной характеристике их с соответствующими гласными уйгурского языка. Значительное внимание в работе уделено вопросу об историческом развитии отдельных фонем. Из известных в прошлом теорий, рассматривающих причины всевозможных фонетических изменений в поступательном процессе развития системы звуков конкретных языков, Ж. А. Аралбаев считает наиболее приемлемой «теорию экономии», которая дает более аргументированное объяснение причины подобных изменений. Автор, безусловно, стоит на правильных научных позициях, утверждая, что всякие фонетические изменения должны изучаться в единстве языка и речи.

В работе проводится тщательный фонологический анализ морфонологической структуры языковых единиц: основ и словообразовательных морфем. Автором затронут вопрос о сложной природе словесного ударения и определен круг актуальных фонетических и фонологических проблем, решение которых даст возможность специа-

листам правильно осмыслить и определить пути исторического развития казахского языка вообще и закономерности изменений его фонетической системы в частности.

Решение Ж. А. Аралбаевым ряда проблемных вопросов казахской фонетики на уровне современной лингвистической науки дает право считать его работу «Вокализм казахского языка» качественно новым исследованием в казахском языкознании. Вполне возможно, что отход автора от традиционного толкования фактов и фонетических явлений может вызвать и возражения. Однако несомненно одно, что рецензируемая работа стимулирует дальнейшее углубленное исследование затронутого в ней вопроса.

Работа Ж. А. Аралбаева не лишена и отдельных недочетов. Как утверждает сам автор, книга рассчитана не только на специалистов-фонетистов, но и на широкий круг научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов филологических факультетов. Однако насыщенность текста узкопрофессиональными терминами, большое количество формул и таблиц, не снабженных доходчивыми разъяснениями и толкованиями, в известной степени осложняет понимание сущности выдвигаемых научных положений. Автору необходимо было учесть, что его работа относится к числу немногих исследований по тюркской фонетике, ведущихся на основе применения экспериментальных методов, и поэтому ему следовало бы более четко разъяснить все «нововведения» и найти более доступные формы научной интерпретации фонетических законов, а также иллюстраций разнообразного экспериментального материала (осциллограмм, спектрограмм и пр.).

Несмотря на перечисленные недочеты, книга Ж. А. Аралбаева—серьезное исследование в области казахской фонетики, содержащее много новых наблюдений и ценных выводов о сложной природе вокализма. Следует отметить исчерпывающее использование автором связанной с темой научной литературы как советской, так и зарубежной, что, несомненно, способствовало повышению теоретического уровня работы.

А. Т. Кайдаров, А. Джунусбеков

ХРОНИКА



ИССЛЕДОВАНИЕ ГОВОРОВ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА

9 марта с. г. на заседании Ученого совета по филологическим наукам Киргизского государственного университета состоялась защита докторской диссертации старшим научным сотрудником Института языка и литературы Академии наук Казахской ССР Жаманбеком Болотовым на тему: «Восточная группа говоров казахского языка и ее отношение к литературному языку».

Ж. Болотов известен среди казахских лингвистов как неутомимый исследователь-диалектолог, углубленно изучающий диалектные явления родного языка. Он был организатором и участником двадцати диалектологических экспедиций как на территории нашей страны, так и за ее пределами. В результате им был собран богатый материал лингвистического, фольклорного, этнографического и исторического характера.

Диссертация Ж. Болотова представляет собой монографическое исследование фонетических, лексических и грамматических особенностей восточной группы говоров казахского языка. В работе нашли свое ос-

вещение история исследования казахских диалектов, основные вопросы изучения восточных говоров казахского языка, этимологические проблемы, фонетические, лексические, грамматические особенности языка казахов Кошагаша, Монгольской Народной Республики, Китайской Народной Республики, Большенарымского аудана Восточного Казахстана. Диссертант исследовал и проанализировал языковые особенности казахов, живущих в ауданах Кокпекти, Аксуат, Абай, Шувартау, Аякоз, Жарма, а также диалектизмы в эпосе М. Ауэзова «Путь Абая».

Благодаря своим несомненным научным достоинствам диссертация Ж. Болотова получила высокую оценку официальных оппонентов — проф. Г. Мусабаева, проф. Т. Акматова и д-ра филол. наук С. Кудайбергенова.

Ученый совет принял решение о присуждении Ж. Болотову ученой степени доктора филологических наук.

Ж. Мукамбаев.

СОДЕРЖАНИЕ

СТРУКТУРА И ИСТОРИЯ ЯЗЫКА

	Стр.
Э. В. Севортьян (Москва). О содержании термина «общетюркский»	3
Э. Р. Тенишев (Москва). К понятию «общетюркское состояние»	13
А. П. Дульзон (Томск). Некоторые вопросы методики реконструкции общетюркской системы звуков	17
Э. А. Макаев (Москва). Вопросы построения сравнительной грамматики тюркских языков	21
Н. З. Гаджиева (Москва). Методы построения сравнительно-исторического синтаксиса тюркских языков	26
Г. Ф. Благова (Москва). К истории развития местоименного и именного падежных склонений в тюркских языках	39
М. Ш. Рагимов (Баку). Значение неродственных языков на территории Азербайджана в сравнительно-историческом изучении тюркских языков огузской группы	50
Д. М. Насилов (Ленинград). Типологические сопоставления в рамках сравнительно-исторического изучения отдельных грамматических категорий в тюркских языках	59
В. И. Асланов (Баку). К проблеме реконструкции корневых морфем	67
Т. М. Гарипов (Уфа). Понятие общетюркского языкового состояния и вопросы исторического развития кыпчакских языков Урало-Поволжья	76
И. Г. Добродомов (Москва). Тюркизмы славянских языков как источник сведений по исторической фонетике тюркских языков	81
Ф. А. Ганиев (Казань). Некоторые вопросы фонетического способа словообразования в татарском языке в историческом освещении	93
Ш. Х. Акбаев (Карачаевск). Сравнительно-исторический метод в тюркологии и генезис балкарского цоканья	98

* * *

А. Н. Кононов (Ленинград). Виктор Максимович Жирмунский как тюрколог	102
--	-----

ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

Х. Короглы (Москва). Песни Коркута	108
--	-----

ТОПОНИМИКА, ЭТНОНИМИКА

А. Гусейнзаде (Баку). Об этимологии топонима <i>Куба</i>	119
М. А. Хабичев (Карачаевск). Об этнонимах <i>alan</i> , <i>byzynnyly</i> , <i>malkarly</i> , <i>karacajly</i> , <i>tegejli</i>	126

СООБЩЕНИЯ

- В. Л. Гукасян (Баку). О новонайденном списке албанского алфавита . . . 130

РЕЦЕНЗИИ

- А. А. Юлдашев (Москва). Е. И. Коркина. Наклонения глагола в якутском языке . 136
 К. Т. Кайдаров, А. Джунусбеков (Алма-Ата). Ж. А. Аралбаев. Вокализм казахского языка 139

ХРОНИКА

- Исследование говоров казахского языка 141

CONTENTS

STRUCTURE AND HISTORY OF LANGUAGE

- E. V. Sevortyan (Moscow). On the contents of the term «common-turkic» . . . 3
 E. R. Tenishev (Moscow). Towards the concept of «common-turkic state» . . . 13
 A. P. Dulzon (Tomsk). On some methods of reconstruction of common-turkic sound system 17
 E. A. Makayev (Moscow). On the construction of comparative grammar of Turkic languages 21
 N. Z. Hajieva (Moscow). The construction methods of comparative-historical syntax of the Turkic languages 26
 G. F. Blagova (Moscow). On the history of development of nominal and pronominal case declension in the Turkic languages 39
 M. Sh. Rahimov (Baku). The Role of noncognate languages in the territory of Azerbaijan in comparative-historical study of the Turkic languages of the Oguz group 50
 D. M. Nasilov (Leningrad). Typological comparison in the framework of comparative-historical study of particular grammatical categories in the Turkic languages 59
 V. I. Aslanov (Baku). On the problem of root-morphemes' reconstruction . . . 67
 T. M. Garipov (Ufa). The concept of the general-turkic language state and the problems of historical development of the Uralo-Povolzhie kypchak languages . . 76
 I. G. Dobrodomov (Moscow). The Turkisms of the slavonic languages as a source of information on historic phonetics of the Turkic languages 81
 F. A. Ganiyev (Kazan). On some problems of word-building's phonetic means in the Tatar language from the historic point of view 93
 Sh. Kh. Akbayev (Karachayevsk). The comparative-historical method in turkology and the genesis of the Balkar tsokanje 98

* * *

- A. N. Kononov (Leningrad). Victor Maximovich Zhirmunsky as a turkologist . . 102

PROBLEMS OF LITERARY CRITICS

- Kh. Koroglu (Moscow). The melodic verse by Korkut 108

TOPONYMICS, ETHNONYMICS

- A. Huseinzade* (Baku). On the etymology of the toponym *Kuba* 119
M. A. Khabichev (Karachayevsk). On the ethnonyms alan, byzynyly, malkarly,
karacajly, tegejli 126

REPORTS

- V. L. Gukasyan* (Baku). On recently discovered list of the Aiban alphabet : : : 130

REVIEWS

- A. A. Yuldashev* (Moscow). *Y. I. Korkina*. Mood of the verb in the Yakut language 136
K. T. Kaydarov, A. Junusbekov (Alma-Ata). *Zh. A. Aralbayev*. Vokalism of the
Kazakh language. 139

CHRONICLE

- The study of Kazakh dialects 141



Технический редактор *Б. А. Абдуллаев*
Корректоры *А. Е. Сорокина, С. В. Литикова*

Рукописи не возвращаются

Сдано в набор 10/V-1971 г. Подписано к печати 25/VI-1971 г. ФГ 10194. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. Бум. л. 4,5. Физ. печ. л. 9. Усл. печ. л. 12,60. Уч.-изд. л. 11,6. Заказ 2425. Тираж 4200. Цена 1 руб.

Типография издательства «Коммунист», ул. Б. Авакяна, 529 кв.